

№ 9 (№ 2/2019)

БЕРЛИН.БЕРЕГА

Литературный журнал

Literaturzeitschrift BERLIN. BEREГА



В НОМЕРЕ:

- **Алексей ЦВЕТКОВ**
„Эдип в Коломне“, стихи
- **Псой КОРОЛЕНКО**
„Подсчётом своих песен пока не занимался“, интервью
- **К 30-ЛЕТИЮ** падения Берлинской стены, монологи очевидцев
- **Дмитрий ВАЧЕДИН**
„Чудовище“, рассказ



Редакция / Redaktion:

Главный редактор/Chefredakteur: **Григорий Аросев / Grigorii Arosev**

Редакторы/Fachredakteure:

Поэзия / Poesie: **Женя Маркова / Genia Markova**

Проза / Prosa: **Дмитрий Вачедин / Dmitry Vachedin**

Переводы / Übersetzungen: **Эдуард Лурье / Eduard Lurje**

Рецензии / Rezensionen **Ирина Мург / Irina Murg**

Кино / Kino: **Вера Колкутина / Vera Kolkutina**

Художник / Illustrationen: **Лилия Лурье / Lilia Lurje**

Корректоры/Korrekturen: **Э. Лурье, Г. Аросев / E. Lurje, G. Arosev**

Тексты на немецком языке / Deutsche Texte: **Герд Буссинг / Gerd Bussing**

Вёрстка / Layout und Satz: **Мария Аросева / Maria Aroseva**

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,
Riehlstrasse 13, 14057 Berlin, Deutschland
www.simon-bw.de / www.berlin-berega.de / berlin.berega@gmail.com

Druck und buchbinderische Verarbeitung Buchbinderei Art-Druk, Stettin
ISSN 2366-3510

Copyright © 2019 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin
Copyright Texte © 2019 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР ЛАНИН — Пятый всадник , стихи.....	5
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ — Эдип в Коломне , стихи	12
ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ — Одна девочка , рассказы.....	18
АЛЯ ХАЙТЛИНА — И дольше века , стихи	42
ЛЕВ ЛИБОЛЕВ — Герой без поэмы , стихи.....	47
ЮЛИЯ ЕФРЕМЕНКОВА — Трамвай в сочельник , Письмо Вере , рассказы.....	54
ДАРЬЯ РУБО — Тяжёлое детство коня БоДжека , рассказ	68
ДМИТРИЙ ВАЧЕДИН — Чудовище , рассказ	77
ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР — „И время без дна“ , стихи	86
ЛЮБОВЬ АРТЮГИНА — „Горят фонари, и не слышно“ , стихи	94
ЕЛЕНА РАДЖЕШВАРИ — Черновик защиты , рассказ...	98
ЗИНАИДА СТАМБЛЕР — Небо Африки , рассказ	102

ПЕРЕВОДЫ

ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ — Ради, Дрова на завтра , рассказы. Переводы Натальи Пастуховой.....	107
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — Ein weisses Schloss , стихотворение. Переводы: Александр Ланин, Сергей Страхов, Ирина Берёза	120

ИНТЕРВЬЮ

ПАВЕЛ ЛИОН (ПСОЙ КОРОЛЕНКО) — Подсчётом своих песен пока не занимался , интервью	122
---	-----

К 30-ЛЕТИЮ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

ЕЛЕНА ХАСМАН, ГАЛИНА ДЁМИНА, ЭЛЬВИРА ЗАКС, НАТАЛЬЯ ЛАВРОВА, ОЛЬГА РАЙЗЕР, ГЕРД БУССИНГ, ХАННЕЛОРЕ КОРН — монологи и реплики.....	132
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

ВЕЕРТЬЕ ВИЛЛЬМС — Современная русско-немецкая литература на примере романа Наташи Водин <i>Die Ehe</i> , статья.....	174
АЛЕКСАНДРА БУНИНА — Беролина: медная берлинская дама, статья.....	189
ИРИНА МУРГ — Как было на самом деле, книжное обозрение	193
ИРИНА ЧЕВТАЕВА — О любви, страхе и ответственности. Рецензия на книгу Гузель Яхиной „Дети мои“	201
ЮЛИЯ НЕЖНАЯ — Призрак древа. Рецензия на книгу Сергея Лебедева «Гусь Фриц»	203
ВИТАЛИЙ КРОПМАН — История одной эмиграции. Рецензия на книгу Себастьяна Хафнера „История одного немца“	209
КАТЕРИНА ГОНЧАРОВА — Везде жизнь, или Особая семья на пути к интеграции. Рецензия на книгу Алины Бронски <i>Der Zopf meiner Großmutter</i>	214
ЕЛЕНА ПЕРЕПАДЯ — Доктор Фрейд для мигрантов и последнее Tschüs «всемирной отзывчивости». Рецензия на книгу Наташи Водин <i>Irgendwo in diesem Dunkel</i> ..	217
ЛАРИСА БЕЛЬЦЕР — На узких перекрёстках мироздания. Рецензия на книгу Анастасии Юркевич „В обратном порядке“	221

КИНО

ВЕРА КОЛКУТИНА — Видео и кино: как отличить? кинообзор.....	236
---	-----

ТЕАТР

АЛЕКСЕЙ ШИПЕНКО — Моя родина — СССР, пьеса	243
Сведения об авторах	254
Kurze Zusammenfassung.....	260
Информация о подписке	261

Александр Ланин

Пятый всадник

Небо меняет скины, солнце — подсветка киндла. То ли мир тебя кинул, то ли ты его кинул. Но ты идёшь как стрелок у Кинга. И тебя догоняют пьяные скины — твои предперфектные времена.

Два всадника слева, два всадника справа. Это облава. За ними конная лава, как посмертная слава. Молодёжь не знает слова «шалава». И ты стоишь, как город-герой Шаламов, растерявший зубы и ордена.

Бритвой по черепу поздно, по венам — рано. Из тебя хлещет прана, словно из крана. Брат носка твоего ушёл в нирвану, зато не рваный. Бог заперся в ванной, главное — вовремя постучать. Твоё последнее счастье в приватном чате. Ты кричишь: «венчайте», подразумевая «кончайте». Но те, что справа, говорят: «молчать!» и те, что слева, говорят: «молчать!».

Пальцы бегут всё быстрее. Но стрелка как стремя, только ещё острее. В мире, где Холмс расстрелян Лестрейдом, нет места даже для средних, тем более для крупных пород. Ты умеешь работать с весами, бить в касание, нервно проверяешь, твои ли сани. Воздух горяч и сален, и на вкус — васаби. Ты чувствуешь себя, словно пятый всадник. И вырываешься чуть вперёд.

Штёртебекер

Когда германский рейх ещё в шортах бегал,
И Эльба стекала с обманчиво пухлых губ,
По устью её ходил пират Штёртебекер —
Гамбургский недоделанный Робин Гуд.
Жил бы он веком позже — двинул бы на Карибы,

Кукушка в часах на ратуше подавилась своим «ку-ку».
Он успел пройти мимо одиннадцати матросов,
Пока палач не подставил ногу упёртому зомбаку.

Сколько же лет мы с тобой сюда шли,
Где не гадают: пошлѣшь ли? дашь ли?
Профиль отточенный, карандаший —
Кисти не требующий эскиз.
Как Штёртебекер, сменивший славу
На сумасшедший посмертный слалом,
Город пробѣёт по своим каналам
Плату безналом за мой безвиз.

Мы, как те моряки, омертвевшей душой хранимы.
Моя тень на офорте живее, чем я живой.

Слышишь шаги?
Это время проходит мимо,
Нас, идютов, спасая, проходит мимо,
Словно пират с отрубленной головой.

Два капитана

Не горят ни рукописи, ни Римы.
Наши двери в веру неотворимы.
Если ты Гримо называешь Гримо,
Значит твой французский как мой урау.
Ничего, что голос не столь уверен.
Наши двери в веру — не наши двери.
И когда по вене течёт Каверин,
Я почти что знаю, когда уйду.

Если мы взметнёмся с плавучей миной —
Хорони лишь тело, а дух кремируй.
Капитаны правят плавучим миром,
Разделив столицу на бак и ют.
Их матросы знают, куда податься,

Их невесты знают, кому отдаться,
Их расклады знают, когда раздаться
И во что одеться, когда убьют.

Закрывает звёзды небесный парус,
Я держу штурвал, ни о чём не парясь.
У Харона платы со средний палец —
На четыре глаза один пятак.
И грядущий день ожидая судный,
Он жуёт свой ужин, простой и скудный.
Он и сам когда-то покинул судно
Одновременно в девяти портах.

Военный синдром

Когда выходишь на передовую,
Нащупываешь точку болевую
И принимаешь манну пулевую,
Не домолившись, то есть натошак,
Враги стоят к тебе в полоборота:
Вторая рота, и восьмая рота,
И эти двое там за пулемётом
С ехидным выражением на щах.

Во рту твоём, не выплюнувшем: «сука»,
Одновременно солоно и сухо.
И ты от пуза взбрасываешь «Ксюху»,
Тяжёлую, как руль на вираже.
И как фотограф вглядываясь в лица,
Ты выпускаешь огненную птицу,
Чтобы успеть хотя бы домолиться,
А дальше как получится уже.

Смотри, как мир тебя не переносит.
Девятки глаз, десятки переносиц.
Ты знаешь, что патрон не перекосит,
Воруешь и гордишься воровством.

И главный по невидимым ремонтам
Шагает, облаками перемотан,
И эти двое там за пулемётом
К зениту разворачивают ствол.

Данелии

Когда-то и я был малюсеньким, меньше чатла —
Обедал в подстоле и верил в жирафа с Чада,
Сидел за кустами, куда не дострелит палка,
И жил по заветам советского киберпанка.

Я нужен взаправнукам, как пепелацу — сопла.
Сегодняшним юным мои непонятны сопля.
Я был малолетним танцором со взрослым танцем.
Потом я, конечно, порос. Киберпанк остался.

Я двигаюсь в жизни, как будто в сырой текстуре,
Лишь помню планету и номер её в текстуре.
И каждый, кто я, кто со мной, и за мной, и перед,
Сначала заплачет и только потом поверит.

* * *

В этаноле, спасающем сердце от голода,
Не разводится калия гидрофосфат.
От огромного, жирного, наглого города
Остается трамвай, погруженный в асфальт.

Лишь под утро бродячие псы серебристые
Покидают могучий рогатый чертог.
И на дно опускается туша ребристая,
Словно пасть, разевая приборный щиток.

Мне пора. Сколько цену свою ни удваивай,
Я достаточно долго тебе прослужил.
Потому что ведь я — не водитель трамваевый,
А всего лишь последний его пассажир.

Маша пишет...

Маша (7 лет) пишет Богу (13 лет):

— «Не забирай меня отсюда. Меня здесь нет.
Принеси мне подарков, и маму мою верни,
И когда уходишь, пожалуйста, не хлопай дверьми».

Маша (17 лет) пишет Богу (23 года):

— «Ты красив, я знаю. Если хочешь, я тебе дам.
Я устала быть гордой. Я устала быть годной.
Все мои птицы расселись по проводам
И не взлетают, они никуда не взлетают,
Дыры от сигарет на крыльях своих латают,
Их клювы в экстази, их голоса в пуху —
Ты и сам знаешь, как оно наверху».

А время идёт и сны остаются снами,
А не чем-то, происходящим с нами.
Трёхмесячному младенцу ещё ничего не снится.
Маша пишет:

— «Понимаешь, я опять ученица.
Когда он хочет пить, я подношу ему воду,
Когда он спит, слушаю, как он дышит...»

Маша (27 лет) пишет Богу (33 года).

Знает, что уже не ответит, но пишет, пишет...



Алексей Цветков

* * *

абеляр элоизе вот что спешу напомнить
из пустого ковша порожнего не наполнить
если взять утомлённых пеших в зной у колодца
то что было уже к тому и прибавится столько
только тем кто не станет пить вода достаётся
но умножится жажда тех в ком всё пересохло
в честном диспуте праздную спесь одолеет самый
терпеливый и чистому сердцем весь мир отчизна
без труда обойдет капканы универсалий
кто стоит на торной дороге номинализма
ибо истина отпрыск упорства а не каприза
вот что следует помнить дитя моё элоиза

элоиза в ответ абеляру спасибо отче
я могла бы сама но у вас получилось чётче
я вчера у часовни для вас собрала ромашки
потому что другого подарка найти не в силах
жалко мать-аббатиса нашла в рукаве рубашки
раньше было их больше но не таких красивых
и ещё я писала по-гречески вам записку
но сестра донесла и велели впредь на латыни
а латынь проста не пристала такому риску
как нас жаль что мы перестали быть молодыми
раньше я гуляла и дальше к ручью и вязу
там теперь собаки с мусорных куч с цепи ли
иногда я плачу но это проходит сразу
ваши мудрые письма меня почти исцелили
если трезво взглянуть пожилые ведь тоже люди
даже если погасли глаза и обвисли груди
даже если рассудок прочь от беды и скуки
почему они что они сделали с нами суки

ЭДИП В КОЛОМНЕ

шумно вздохнуло чудище и отвечало
рассуди сам по науке если философ
в термодинамике есть второе начало
и число ответов меньше числа вопросов
вот на эту разницу и живём с супругой
с утра наличных ноль но на кон ставлю смело
пораскинь чем бог над этой правдой сугубой
и взмахнуло лапой и убило и съело

жалко ослепнуть в зобу не прозрев ни разу
плохо кончить век дичью без избытка знаний
человек не чета идеальному газу
раз передний ум тормоз не вывезет задний
страшно когда среди природы постепенной
суслик пополам плугом с небес камнем птица
тепловая други мои гибель вселенной
по ту сторону шанса налить-похмелиться

домик допустим в коломне за вином прямо
ответ или-или судьба обыкновенна
здесь кто папу зашиб кому дала чья мама
вопрос не острый не австрия чай не вена
выпрыгает на солнце льдинкой прозвенит фикса
о берега стакана и в путь ко второму
а какие и гибнут то не в пасти сфинкса
с константой Больцмана на устах в дар харону

* * *

кто камни тяжелил и руку правил богу
чтобы родней всегда и так звеня земля
кто зодчий всех зверей и сочинил погоду
увы что был не я

когда в безоблачной но за полночь тилее
так млечно теплится узор подложных тел
стоять и видеть сон что есть одна милее
какую ты хотел

на свете бога нет но к куполу крутому
прильни где невелик зодиакальный круг
в танцующий бинокль мы говорим плутону
прощай холодный друг

кто шерился без глаз от пристани кромешной
кто опускал во мрак беззвучное весло
теперь в последний раз мерцает под одеждой
нагое естество

простые проводы стакан и осетрина
кость компаса дрожит берцовая в окно
за тот предел где лжешь ни ты ни прозерпина
не властвуют давно

* * *

когда-нибудь пришла и встала у окна
к присутствию спиной а в небесах чертила
всю синеву и траекторию орла
я очинял перо и разводил чернила

мир вечерел квазары падали в подол
пускай бы вымысел удачен был у бога
так подмывало петь но видимо потом
когда прокапляться после её ухода

хотелось что судьба отсюда не беда
сквозь трепет изнутри где близко плоть слепая
я постигал с трудом кто у меня была
пришла и у окна когда-нибудь стояла

навек и светится что никогда прошло
как у себя в ласке в большой бизоньей шкуре
вся радость на стене лазурное пятно
где кажется умри и будешь жив не хуже

сойдя по паспорту в неброскую страну
в окрестность скромную москвы или саранска
припоминаешь как однажды жил в раю
и голос пробовал так сыпало но старался

рождественская ода

как нас мало в природе чем свет сосчитал и сбился
в большинстве своем кворум из мрамора или гипса
а какие остались что в бостоне что в москве
кто в приюте для странников духа кто с круга спился
собирайтесь с аэродромов по мере списка
вот проснёшься и думаешь где вы сегодня все

состоимся и сверим что мы кому простили
на коре зарубки круги на древесном спиле
только день в году для кого эта ночь темна
а потом как в лувре друг другу в лицо полотна
потому что раз рождены то бесповоротно
нежные словно из звёздной пыли тела

это хвойное небо под ним пастушки коровки
всех хвостатых и без бегом достаём из коробки
старичок с топориком ослик и вся семья
с колыбели как мы добыча клинка и приклада
как умел любил и не ведал что бог неправда
мы убили его и живём на земле всегда

даже веру в фантом за такую любовь заочно
мы прощаем ему то есть я совершенно точно
как обязан прощать а другие поди пойми
вот у люльки кружком в канители в крашеной стружке

человечки-венички плюшевые игрушки
да сияет сегодня всем звезда из фольги

в этом сонме зверей рождество твоё христе боже
так понятно живым и с судьбой человека схоже
соберемся по списку когда истекает год
заливает время запруды свои и гати
и две тысячи лет нам шлёт дитя на ослиати
если бога и нет нигде то дитя-то вот

скоро снова к столу простите что потревожу
я ведь сам пишу как привык то есть снявши кожу
лоскуты лица развесив перед собой
те кого уместил в вертеп в словую нишу
это вы и есть а то что я вас не вижу
не толкуйте опрометью что лирник слепой

праздник прав а не святочный бог когда-то
наши дети в яслях и гусеницы и котят
минус мрамор и гипс но в барыше любовь
у истока вселенной подсмотрев это слово
я с тех пор как двинутый снова о ней и снова
и не стихну пока язык не ободран в кровь

* * *

стал он звать золотую рыбку
голосом молвит человеческим
хочет в бабы секретаршу ритку
и за декабрь ипотеку тоже нечем
приплыла к нему рыбка спросила
записала в блокнот и всё забыла
ни чтоб здарсьте ему ни он спасибо
чайка подписью под досье залива
что ещё скажешь синему морю
плесни в стакан чем помочь горю

эти рыбки и вся морская закуска
сочинение без совести и чести
жизнь как мессинский пролив где узко
там и нет прохода утони на месте
что ни утро ни дома нигде ни ритки
пушкин на ветвях кот учёный в мыле
так и тянет к прибору типа бритвы
кота наголо и себе опочить в мире
прах любое богатство грош вся гордость
детство кончится и ничего не будет
в синем море лишь человеческий голос
без человека кричит оторванный бурей
умирает чайка голову в перья прячет
голос чуть помолчит и опять плачет

Виталий Пуханов

Одна девочка

Одна девочка берегла себя для любимого, а любимый всё не приходил, и однажды девочке надоело ждать любимого, она решила больше не ждать, а довольствоваться тем, что есть, но тут любимый взял и появился. «Ну ты автобус прям!» — сказала девочка любимому.

Одну девочку позвали почитать свои стихи. Ей нечего было надеть, и она не пошла.

Одна девочка захотела замуж за мальчика, с которым начала недавно встречаться, и сообщила ему об этом.

— Маме не понравится, что ты куришь, — ответил мальчик.

— Я брошу! — с готовностью ответила девочка.

— Маме не понравится, что ты пьёшь.

— Я брошу!

— Маме не понравится, что ты спишь со всеми.

— Я больше не буду!

— Маме не понравится, что ты не учишься и не работаешь.

— Я поступаю! Я устраюсь! Понимаешь, у меня раньше цели не было.

Одна девочка была толстая и очень страдала. Так страдала, что добрые люди посоветовали пойти к психотерапевту. Она сходила, и ей сразу стало легче, захотела ещё. Общение стоило денег, девочка почти ничего не ела, ходила пешком, чтобы сэкономить, и однажды сказала: «Доктор, вы волшебник!»

У одной девочки была большая и красивая при этом грудь, но ей объяснили, что в жизни нужно добиваться всего своим умом, а не красивой грудью. Девочка больно перетягивала грудь эластичным бинтом и ходила на собеседования, чтобы устроиться на работу. Но на работу брали других девочек, а её не брали. «Да пошли

вы все в жопу!» — сказала девочка, разбинтовала грудь, пошла в очередную контору, и её сразу взяли на большую зарплату варить кофе и напоминать о запланированных встречах. Господь так позаботился о будущем девочки, раз не дал ума.

Одна девочка мечтала полететь в космос, но времена были тяжёлые, и у неё не сложилось. Девочка родила и воспитала дочку, а когда дочка выросла, отправила её в космос и каждую неделю звонила, спрашивала, как дела в космосе. Девочка прилетала к матери иногда на пару дней, они долго разговаривали о жизни в космосе, мать наставляла, как правильно себя вести. Потом девочка укладывала мамины соленья в сумку и улетала в космос, а однажды встретила инопланетянина, и он увез её на свою далекую планету. Мама звонила девочке в космос, но никто не брал трубку.

Одна девочка сидела на скамейке и горько плакала.

— Что с тобой случилось? — спросила проходившая мимо тётенька.

— У меня короткая шея, кривые ноги, близко посаженные, навывкате глаза, зелёная кожа, редкие волосы, — ответила девочка, продолжая рыдать.

— Глупости какие! — возмутилась тётенька. — Разве это важно в ваше время? Главное, что у тебя внутри, какой ты в жизни человек!

— Я не человек, — ответила девочка и ещё горше зарыдала. — Я расколдованная лягушка.

Одна девочка очень любила шоколадные конфеты и называла их какашечками. Когда приходили гости, девочка, как подобает гостеприимной хозяйке, ставила на стол коробку конфет и говорила: «Угощайтесь какашечками». Гости вежливо отказывались. Девочка так поступала специально, все конфеты оставались ей. А слово, оно всего лишь слово, не слово же в рот кладёшь.

Один мальчик мечтал встретить одну девочку случайно на улице и много гулял по городу. Девочка жила в другом городе, и они так и не встретились.

Одна колдунья предсказала одному мальчику, что скоро он встретит девочку своей мечты.

— А как я её узнаю? — спросил мальчик.

— Она тебя сама узнает, — ответила колдунья.

Злая была эта колдунья или добрая, мальчик постеснялся спросить.

Одна девочка мечтала стать мамой, но никто не хотел ей помочь. Говорили: «Ты некрасивая». Девочка пошла к слепым. Слепые сказали: «Ты глупая». Девочка пошла к слепым дуракам. Слепые дураки сказали: «У тебя скучная фигура». Девочка пошла к слепым безруким дуракам. «Нам ничего не надо», — сказали девочке слепые безрукие дураки. Девочка шла по городу и плакала, её заметил робот и спросил, почему она плачет. Девочка рассказала о своей беде. «Я робот, мне всё равно», — сказал девочке робот и отвел к другу-роботу, который делал девочек счастливыми мамами в больнице. Девочка скоро родила красивого и умного мальчика и назвала Альбертом.

Один мальчик и одна девочка очень хотели покончить с собой, но не успели, случайно познакомились, разговорились, поженились, у них родились мальчик и девочка, но чувство, что они сделали всё, как и хотели, что всё они сделали правильно, не покидало их до последних дней жизни.

Одна девочка много лет носила кота в корзинке. Однажды ей надоело, и она сказала коту, что теперь кот будет носить её. «Я не девочка, я мальчик», — ответил кот и убежал.

Одна девочка купила путёвку на курорт «все включено» и перед отлетом сделала фотосессию, чтобы все запомнили её стройной и красивой.

У одной девочки была большая пышная грудь, но девочка опоздала родиться: носить красивую грудь стало неприлично, потому что теперь любая грудь красивая, даже если она некрасивая, потому что она уже грудь и всем должно быть всё равно. Девочка

стыдилась своей груди и покупала такие кофты, чтобы всем казалось, что у неё огромный живот и нет талии. Бесформенной девочка всем очень нравилась, она выглядела современно с модной фигурой. Но один мальчик всё равно разглядел девочку, подошёл и сказал: «Я подозреваю, у тебя великолепная грудь, не бойся, я не выдам тебя».

Одной девочке никто не сказал, что она дурочка. Девочка до всего дошла своим умом и была благодарна людям за деликатность и доброту.

Один мальчик дружил с девочкой, а девочка с ним нет. Потом мальчику надоело так дружить, и он перестал. Тогда с ним начала дружить девочка, и в их отношениях ничего не поменялось, потому что отношения между мальчиком и девочкой складываются однажды и навсегда.

Один мальчик пригласил одну девочку в кино. «Я пойду с тобой в кино, — ответила девочка, — если не поступит более интересное предложение. Позвоню тебе за час».

Одна девочка любила маму и папу и не хотела их расстраивать ничем, но встретила интересную компанию мальчиков и девочек. Они веселились до утра, и никто не звонил родителям. «Какие они крутые!» — с восторгом думала девочка. Позже она узнала, что это тайное общество мальчиков и девочек, которые убили и съели своих родителей. Девочка вежливо попрощалась и убежала домой.

Одна девочка решила ненадолго похудеть, чтобы стать красивой и выйти замуж.

Одна девочка мечтала стать алкоголичкой, но у неё не получалось. Тогда умные люди посоветовали ей выйти замуж за состоявшегося алкоголика. Девочка долго тёрлась по разным компаниям, с ней пили, но замуж никто не брал. «Не сбылась моя мечта», — печально сказала себе девочка и вышла замуж за

непьющего мальчика, скромного менеджера, и прожила с ним долгую тихую жизнь без любви.

Одна девочка пилила, пилила одного мальчика за то, что он чмо и ничтожество, ничего не зарабатывает и у него нет жизненных перспектив, а потом бросила мальчика и вышла замуж за бомжа. Мальчик офигел и осознал, что совсем ничего не понимает в девочках.

У одной девочки была просьба. Просьбу принято кому-нибудь обязательно отдать, но девочка никак не могла найти достойного. Просьба жила с девочкой, юная и прелестная, а потом состарилась и стала смешная.

Одна девочка покупала книги. Покупала, покупала, покупала, не всё успевала прочесть. Иногда девочка думала: «Какое счастье, что покупаю книги, а не туфли. Как нелепо смотрелись бы они на книжных полках».

У одной девочки не было ноги, но она привыкла и жила, как все. Однажды в школе устроили бал, и все сговорились выбрать девочку королевой бала. Девочка, ничего не подозревая, пришла нарядная, стояла и смотрела, как все танцуют и веселятся. Наступило время выбрать королеву, торжественно назвали имя девочки. Девочка сначала удивилась, а потом рассердилась и сказала: «Я калека, а не дура!» — развернулась и гордо покинула зал, как настоящая королева.

Одна девочка поверила в Деда Мороза и продолжала верить, даже когда стала старушкой. Она никогда не писала Деду Морозу писем и ничего у него не просила, просто верила, что он есть. Жила девочка одиноко, как все странные девочки. И однажды под Новый год в дверь постучались. Девочка открыла и увидела бодрого старика с белой бородой. «Здравствуй, девочка! — сказал старик. — Теперь я буду жить с тобой всегда, больше в меня никто уже не верит, только ты одна. Верой твоей существую, а иначе настал бы мне кирдык. А что раньше не пришёл, не взыщи, ты была молода, а я всегда был стариком».

Одна девочка пришла к доброму волшебнику и спросила, когда уже её мальчик станет мужчиной.

— Ближе к пятидесяти, — ответил волшебник, не задумываясь.

— А как же мне быть? — удивилась девочка.

— Пока ты как-нибудь сама, — ответил волшебник и сочувственно похлопал девочку по хрупкому плечу.

Одна девочка варила очень вкусный кофе, а другая девочка варила отвратительный, но все ходили в гости к этой девочке и пили её жуткий кофе, а к девочке, варившей вкусный кофе, не шли. Тогда девочка пришла к доброму волшебнику и спросила почему. «Понимаешь, мир несправедлив, — ответил волшебник. — А от кофе один вред, сама видишь».

Одна девочка пригласила мальчика в гости, но не стала наряжаться, краситься и укладывать волосы, а надела футболку до колен и стала жарить лук на сковороде. Когда мальчик зашёл в дом с цветами и тортиком, девочка начала ругать мальчика и рассказывать ему, какое он чмо и неудачник. Мальчик очень удивился и убежал. А девочка ничего плохого не хотела, она просто была честная и сделала для мальчика небольшую презентацию будущей совместной долгой и счастливой жизни.

Одна девочка написала стихотворение «Гоняются за мной бабочки зимой» и отнесла в поэтический журнал. Злой редактор мрачно прочитал стихотворение и сказал:

— Бабочки зимой, девочка, — это моль.

— Вы ничего не понимаете в поэзии, — сказала девочка и пошла домой травить бабочек.

Одна девочка читала спецкурс по одному писателю. Она была честная девочка и сразу предупреждала студентов:

— Дети, мы с вами будем изучать творчество замечательного, но навсегда забытого писателя. Вы ни с кем не сможете о нём поговорить, ничего полезного не извлечете из его произведений для формирования жизненных принципов и очень скоро забудете всё, что прочли, и обо всём, что я расскажу вам на лекциях.

— Почему же мы будем изучать его творчество?

— Я специалист по этому писателю, и мне нужны средства к существованию, а я привыкла честно зарабатывать на жизнь своим трудом. Так сложилось, что в труд учителя входит и труд ученика. Простите, так устроена система.

Одна девочка не знала, где брать деньги, и все другие девочки приходили на неё посмотреть и приводили подруг. И каждая спрашивала:

— Девочка, ты правда не знаешь, где брать деньги?

— Правда не знаю, — отвечала девочка.

Все качали головами и уходили, и никто не сказал девочке, где же брать деньги.

Одной девочке в жизни не везло. Все валялось из рук, ребенка воспитывала одна, любовь свою так и не встретила. Девочка думала, что все её беды случаются, потому что она слишком красивая. Однажды к ней без спросу пришёл добрый волшебник и сказал: «Все твои проблемы из-за того, что ты считаешь себя очень красивой. Но посмотри внимательно на себя: у тебя, да, яркая внешность, большие глаза, необычная улыбка и стройная фигура, но ты больше похожа на экзотическую куклу, плод эротических фантазий задрота-кукольника. Ты необычная, интересная, но твоя красота утомительна и не практична, ты некрасивая на самом-то деле. Пойми, что ты некрасива, и все твои беды уйдут, жизнь наладится, и ты будешь счастлива, как все некрасивые девочки». Девочка молча выслушала волшебника и огрела его сковородкой по голове.

Одна девочка разочаровалась в добрых волшебниках, поняла, что никакие они не добрые, а как есть — злые, и пошла искать добренького волшебника.

Одна девочка зачем-то приготовила кастрюлю салата оливье и пришла в ужас от мысли, что всё это ей придётся съесть одной. Но девочка не растерялась, вышла с кастрюлей на улицу и надела на голову первому встречному прохожему. Лица прохожего

девочка не разглядела из-за салата. Человек-салат ничего не сказал в ответ, а понуро зашагал прочь. Он один знал, за что ему на голову надели кастрюлю. Каждый сам знает, в чём и перед кем виноват, и с благодарностью принимает удары судьбы.

Одна девочка попросила маму спать на Новый год платье Снежной королевы. Мама пошла и торжественно вручила плачущей девочке платье Золушки, объяснив, что оно намного практичнее. А один мальчик попросил на Новый год купить ему в ГУМе костюм злого волшебника. Мальчика спросили:

— Почему злого?

— Я видел, как одеты добрые волшебники, извините, — ответил мальчик.

Одна девочка мечтала встретить надёжного и верного спутника жизни. Случайные и бесперспективные отношения ей надоели. «Сколько можно заниматься блядством? Пора и честь знать», — сказала сама себе девочка, глядя в зеркало похмельным утром. И ей вскоре улыбнулась удача, она встретила интересного мальчика, он стал красиво за ней ухаживать, водил в кино и театры, катал на каруселях, пил чай с девяностолетней бабушкой девочки, всегда внимательно выслушивал девочкины рассуждения. «Ему интересен мой богатый внутренний мир! — думала девочка. — Он не похож на других, тем надо было от меня только одно. Неужели я встретила свою судьбу?» Шли месяцы, мальчик продолжал ухаживать, но не предпринимал попыток сблизиться с девочкой. Девочка начала терять терпение и сделала первый шаг навстречу отношениям. Но мальчик отстранился.

— Я тебе не нравлюсь? — забеспокоилась девочка.

— Нет, ты мне очень нравишься, мне с тобой хорошо, но, понимаешь, я, ну это, ничего не могу.

— Что же сразу не сказал! Столько времени на тебя зря потратила,

— ответила девочка и посмотрела на мальчика с ненавистью.

Одна девочка захотела узнать своё будущее и пришла к злому волшебнику.

— Через пять лет, — начал злой волшебник, — ты превратишься в толстую тётку, поторопись жить!

Девочка сильно расстроилась и отказывалась верить в пророчество, пошла к доброму волшебнику и нажаловалась на злого. — Какие глупости! — начал добрый волшебник. — Ты всегда будешь стройной и молодой. Но в одном коллега прав: поторпись жить.

Однажды девочки стали обсуждать в социальных сетях вопиющее поведение мальчиков, присылающих девочкам непристойные фотографии. Оказалось, что всем, ну просто каждой кто-нибудь да присылал. А одна девочка читала и думала: «Что со мной не так?»

Одна девочка была очень привлекательная и разместила своё фото в социальных сетях. Мальчики стали присылать ей фотографии цветочков, котиков, машин, пейзажей, океанского побережья, а девочка отчего-то видела всегда лишь нечто неприличное. Однажды она усомнилась, ведь не может быть такого, чтобы все слали ей исключительно мерзость. Она собрала картинки и понесла показать доброму волшебнику.

— Мне одной кажется, что на картинках неприличное? — спросила она.

Волшебник внимательно просмотрел картинки и ответил:

— На самих картинках ничего непристойного нет, но ты видишь то, что проступает сквозь них, с какой целью они отправлены, ты просто зришь в корень.

Одна девочка наряжалась, красилась, укладывала волосы и шла на рынок торговать картошкой.

— Почём картофель? — спрашивали девочку.

— Триста долларов за килограмм, — отвечала девочка.

— Сколько-сколько? — удивлялись покупатели.

Не каждый торговый день был удачный, колхозный рынок как-никак, но на жизнь девочке хватало.

Однажды мальчик и девочка встретились и, крепко взявшись за руки, пошли дорогой жизни напрямик в ад. За дорогой никто не следил, они оба утонули в глазах друг друга. Обнаружив себя

в полном аду, мальчик и девочка стали упрекать друг друга и даже подрались. Рядом, неизвестно что потерявший в аду, гулял добрый волшебник. Мальчик и девочка бросились к нему.

— Как нам отсюда выбраться? — взмолились они.

— Однажды выберетесь, — ответил волшебник. — Ты истеричной поблекшей тёткой, а ты выпцветшим тихим алкоголиком. Построите и обживете свой индивидуальный ад, вполне сносный.

— Неужели нет другого выхода? — плакали глупые дети.

— Есть, — сказал добрый волшебник. — Но я вам не скажу.

Одна девочка была готова на всё. Ей предлагали одно, другое, третье. «Нет, — отвечала девочка, — мне нужно всё!»

Одна девочка ненавидела своё лицо. Все, кто видел девочку, па-рахались от неё и лишь усилием воли вели себя, как подобает воспитанным людям, но спешили поскорее удалиться. Девочка не могла удалиться от себя, она каждый день видела лицо в зеркале и думала: «Боже, неужели это я!» Но один мальчик пытался ухаживать за девочкой, приглашал в театр и в кино и однажды признался девочке, что она ему очень нравится, особенно её лицо. «Мерзкий извращенец!» — закричала девочка и ударила мальчика кулаком в его лицо.

Одна девочка всем рассказывала, что не собирается выходить замуж и предпочитает свободные отношения. Все уважали и ценили девочку, а один мальчик проснулся однажды женатым на девочке и при этом ещё и отцом её ребенка. Лежал и думал: «Как же оно так всё получилось?»

Одна девочка изменила изображение профиля и лайкнула всех, чтобы увидели её новый фейсбучный прикид.

Одна девочка наблюдала за протестным шествием феминисток и думала: «Эх, жаль выбросила я свой бледно-розовый китайский дутый пуховик из девяностых, сейчас была бы в тренде».

Одна девочка, не жалея времени и сил, помогала людям, потому что верила: в трудную минуту люди придут ей на помощь. Однажды трудная минута наступила, но люди на помощь не пришли, девочка как-то справилась сама и спросила удивлённо:

— Как же так?

— Ах ты, корыстная дрянь! — ответили девочке люди и отвернулись от неё.

Одну девочку бросили в клетку к тиграм. Она горько плакала, потому что хотела в клетку ко львам.

Один мальчик и одна девочка долго и старательно склеивали разбитую чашку, и оба надышались клеем. «Разбитую чашку не склеить, — печально сказал добрый волшебник. — Но повод достойный».

Один мальчик умер и попал в ад, куда попадают все не уклонявшиеся от жизни мальчики.

— Почему я не вижу здесь девочек? — спросил мальчик доброго волшебника, последовавшего вскоре за ним. — Они все в раю?

— Нет, — начал волшебник, — девочки отправляются в миры, откуда прибывают агентами жизни с единственной целью: любыми средствами вынудить мальчиков участвовать в обременительном, но единственном имеющем смысл в земной жизни действе — продолжении человеческого рода. Девочкам приходится лгать и подличать, предавать, убивать, да, да, редкая девочка не убийца, но все их грехи и долги ложатся на мальчиков, и потому ты здесь, а они отправляются домой на переплавку с последующей заброской на Землю.

— Здорово! — воскликнул мальчик и тут же обеспокоился: — А феминистки?

— Ну, — улыбнулся волшебник, — эти ещё очень молоды, но посмотрим, если честно, я не знаю, никто пока не знает.

«Возьми три кольца: медное, серебряное и золотое. Медное отдай первому встречному мужчине. Серебряное отдай отцу твоих детей. А золотое береги для мужчины, которого ты никогда не

встретишь», — сказал добрый волшебник одной девочке. Одна девочка пожаловалась доброму волшебнику, что все мальчики эгоистичные похотливые животные и что она никак не встретит доброго, верного, понимающего друга. «Встретишь ещё, — грустно сказал волшебник. — Но ты должна помнить, что добрый, верный и понимающий друг появится по зову твоей любви из безликой толпы эгоистичных похотливых животных, потому что, как ты справедливо заметила, все мальчики такие».

У одной девочки было врождённое чувство социальной ответственности и желание мира во всём мире. Получив хорошее образование, девочка уяснила: в основе любого конфликта лежит эксплуатация человека человеком, и потому девочка устроилась мыть полы в подъезде. Поначалу девочка писала от руки: «Уважайте труд уборщиц!» или «Вытирайте, пожалуйста, ноги», но со временем стала крыть матом и бить мокрой тряпкой по лицу каждого, кто пёрся в грязной обуви с улицы и не вытирал ноги о специальный коврик. Так девочка поняла, что конфликт неизбежен, и ты свободен лишь выбрать сторону конфликта.

Одна девочка была с детства запугана, избегала ссор и конфликтов, не задавала лишних вопросов и долго думала, прежде чем что-то сказать, а когда не знала, что сказать, беззащитно улыбалась. Все говорили про девочку: «У неё врождённое чувство такта». Девочку ценили на работе, знали, что не подведёт, и сваливали срочную, недоделанную всеми работу, но по службе не продвигали. Что думала обо всём этом девочка, не догадывался даже добрый волшебник, из глубин её сознания слабым эхом доносились до него отдельные звуки, чаще других «с», «у», «к» и «п».

Один мальчик очень любил свою маму и считал её лучшей на свете. А одна девочка маму мальчика ненавидела так сильно, что вышла замуж за мальчика и принялась остервенело о мальчике заботиться. Скоро мальчик понял, что его мама никогда не умела готовить, стирать, гладить и прибираться на кухне, не была способна дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту,

и вообще мама была всегда полная бестолочь, но мальчик всё равно продолжал любить свою маму. Так девочка своего не добилась.

Один мальчик спросил доброго волшебника:

— Как мужчине и женщине жить в согласии?

— Женщина должна исполнять волю мужчины, а мужчина — исполнять желания женщины, — ответил волшебник.

— А отличие в чём? — удивился мальчик.

— Отличия неуловимы, как всё в живой гармонии, — ответил волшебник.

«Сексист недобитый», — подумал мальчик, но волшебник всё равно его услышал.

Одна девочка жила одна и завидовала другой девочке, у которой на диване всегда лежал мальчик в трениках. Когда бы девочка ни пришла в гости к подруге, мальчик лежал на диване, будто и не вставал с прошлого её визита. Шли годы, и девочка поняла, что именно такого мальчика искала всю жизнь: спокойного, молчаливого, а главное, преданного своей девочке. Она решила приложить все силы, чтобы увести мальчика у подруги, и первым делом отправилась покупать удобный современный диван.

Один мальчик подошёл к одной девочке и сказал:

— Вы меня не знаете, но я давно за вами наблюдаю, и вы мне очень интересны.

— Чем же я вам интересна? — спросила девочка.

— Я не понимаю, — ответил мальчик. — И чтобы я смог понять, нам необходимо начать встречаться.

— А почему мальчики и девочки все у всех просят прощения раз в году? — спросил один мальчик доброго волшебника.

— Понимаешь, — начал волшебник, — в основе движения и развития лежит конфликт. Всякий, кто уклоняется от конфликта, лишает себя шансов жизненного роста, потому что сам становится главным препятствием на пути своих амбиций. И вот люди просят друг у друга прощения, чтобы налегке с новыми силами продолжать уничтожать друг друга. Так что прости, — закончил волшебник и дал мальчику пинка.

Одна девочка считала себя очень бедной и старалась экономить, покупала вещи на распродажах, не ходила по ресторанам и всё равно едва укладывалась в сто тысяч в месяц.

— Что со мной не так? — спросила девочка доброго волшебника.

— У тебя установка на бедность, — начал волшебник.

— Вон, видишь, другая девочка живёт на тридцать тысяч, одевается в бутиках, ужинает в ресторанах и считает себя обеспеченной.

— А она ужинает в ресторанах одна? — осторожно спросила девочка.

— Да какое это имеет значение! — раздражённо ответил волшебник. — Главное, выработай правильные установки.

Одна девочка после десятилетней разлуки назначила одному мальчику встречу у памятника Пушкину.

— А как я тебя узнаю? — спросил мальчик.

— На мне будут те же шляпка и пальто, что и в последнюю нашу встречу, — ответила девочка.

Одна девочка не умела готовить и заставляла своего сына доедать невкусный суп со словами: «Не встанешь из-за стола, пока не доешь!»

— Зачем ты так делаешь? — спрашивал девочку добрый волшебник.

— Я его так воспитываю, — отвечала девочка. — Вот приучится доедать суп, и, когда меня не станет, как-то доживёт и жалкую жизнь.

Одна девочка тратила все деньги на туфли. Коробки с обувью стояли вдоль стен до потолка, пёстрым стадом морских свинок туфли теснились в коридоре, но девочка продолжала искать волшебную пару туфель, которые превратят её в настоящую принцессу. Однажды девочка вернулась домой за полночь и увидела, что все туфли превратились в тыквы.

— Безобразие! — жаловалась девочка доброму волшебнику. — Беспредел! Нет таких сказочных законов.

— Что поделаешь, — сочувствовал волшебник. — Постмодернизм добрался и до нас.

— Почему девочки такие глупые? — спросил один мальчик доброго волшебника.

— Не говори глупостей, не бывает глупых девочек, глупость — такая разновидность ума. Девочки меняют форму ума, как шляпки, — ответил волшебник.

— Тогда почему мальчики считают девочек глупыми? — удивился мальчик.

— Не от большого ума, — ответил волшебник и тяжело вздохнул.

— А в чем задача феминизма? — спросил один мальчик доброго волшебника.

— Понимаешь, — начал волшебник, — мужчина есть грязное и свирепое животное, и во все века женщине предстояло в одиночку войти в клетку к животному и силой любви и терпения, красотой, подаренной природой в качестве единственной защиты, это животное приручить и усмирить.

— А что же будет теперь? — насторожился мальчик.

— Теперь усмирением животного займется закон, — строго ответил волшебник и ударил мальчика плеткой.

— А почему нельзя обманывать девочек? — спросил один мальчик доброго волшебника.

— Людей вообще нельзя обманывать, потому что это делает их несчастными, — печально ответил волшебник.

— А что же делает людей счастливыми? — насторожился мальчик.

— Люди счастливы, когда обманывают себя сами, никто не должен им мешать и соваться со своим обманом, — ответил волшебник и приободрился.

— Видишь, стоят три девочки? — обратился к одному мальчику добрый волшебник. — Одна из них твоя любовь, а другая твоя смерть, смотри не ошибись.

— А третья? — насторожился мальчик.

— Третья? — замялся волшебник. — Третья — это так...

— Но, волшебник, я вижу только одну девочку! — удивился мальчик.

— Это ничего, со временем разглядишь, — ответил волшебник и оставил мальчика одного перед выбором.

— А что мы дадим этой девочке? — спросил один мальчик доброго волшебника во время облёта облака рождений.

— Мы дадим ей красоту, красота защитит её, — ответил волшебник.

— А этому мальчику? — спросил мальчик.

— А ему мы подарим дар жить трезво. В России этого достаточно, чтобы всего добиться в жизни, — ответил волшебник.

— Ты какой-то добрый сегодня, — заметил мальчик.

— Сегодня да, — ответил волшебник.

— А давай подарим их друг другу! — воодушевился мальчик.

— Нет, — ответил волшебник. — Сегодня добрым буду я один.

Одна девочка долго жила с одним мальчиком и убедилась, что он надёжный, верный и преданный друг, и теперь она с лёгкой душой может уйти к другому мальчику, потому что сильно полюбила, а этот и останется при ней по хозяйству. «Сюрприз!» — ответил мальчик и исчез из девочкиной жизни навсегда.

Одна девочка искала мальчика своей мечты, но постоянно ошибалась. От досадных ошибок у девочки остались квартира, машина, приличный гардероб, ювелирные украшения и даже научная степень, но всё это девочка, не раздумывая, обменяла бы на единственного мальчика своей мечты.

«Девочка имеет право на ошибку», — сказал девочке добрый волшебник и убежал, не оглядываясь.

Одна девочка успела к постели умирающего отца.

— Папа, дай мне совет, который поможет мне справиться с жизненными трудностями, поможет сохранять самообладание в любой ситуации, придаст сил и уверенности в своём будущем. Папа, ты прожил жизнь, ты знаешь!

— Запомни, дочка, одно: всем по...

Но тут аппарат, с которым был соединён, как смертной пуповиной, отец, запиликал, и девочка не расслышала последнее напутствие отца.

Одна девочка искала спутника жизни, но её окружали одни алкоголики-неудачники в растянутых трениках. Отчаявшись, девочка пришла к доброму волшебнику и рассказала о своей беде.

— Я помогу тебе, — сказал волшебник, выслушав девочку. Достал из шкафчика склянку с прозрачной жидкостью и налил девочке стакан.

Девочка выпила, и в глазах у неё помутнело, а когда зрение вернулось, девочка увидела вокруг себя остроумных симпатичных мальчиков с богатым внутренним миром.

— Это настоящее волшебство! — воскликнула девочка и, плюхнувшись на стул, положила волшебнику ногу на плечо.

Одна девочка очень любила чистоту и всё время наводила чистоту вокруг себя, боролась за чистоту и берегла. А чистота съела девочкину жизнь начисто.

Одна девочка хотела быть счастливой, но не знала, что для этого нужно. Подруги советовали выйти замуж, родить ребенка и завести собаку. Девочка вышла замуж, родила ребенка, купила собаку и стала ждать счастья, а оно всё не приходило. Тогда девочка отдала мужа подруге, ребёнка бабушке, собаку в приют и решила поискать счастья в другом месте.

У одной девочки было бальное платье, но надеть его никак не случалось, потому что злая колдунья тайно прибавила к платью букву Е.

Одна девочка была полновата и неуклюжа. Папа очень хотел помочь любимой дочке и отдал девочку в школу бальных танцев. Там девочке быстро объяснили, что она корова.

У одной девочки не было силы воли совсем.

— Что же мне делать? — жаловалась девочка злой колдунье.

— А ты найди себе мальчика, у которого есть сила воли, — посоветовала колдунья.

Девочка долго искала такого мальчика, потом нашла и забрала у него силу воли себе.

У одной девочки тикали часики. В полночь часики звучно били двенадцать раз, и девочка превращала в тыкву любого мальчика, оказавшегося рядом. Поэтому к одиннадцати вечера девочка старалась вернуться домой и уснуть.

Одна девочка перебирала в уме свою жизнь, искала причину несчастий и неудач и наткнулась на чёлку. Да, чёлку девочка подстригала не в какой надо день, не выдержала нужную высоту, линия вышла не идеальная, чёлка получилась блядская, а девочка совсем даже не блядь. Тогда девочка подошла к зеркалу и решительно обрезала чёлку под корень. Теперь у девочки всё будет хорошо.

— Береги фигуру! — сказал на прощанье добрый волшебник одной девочке.

— А талант? — спросила девочка обеспокоенно.

— А куда он денется, твой талант, — ответил волшебник и ушёл на долгую осеннюю прогулку, когда по улице после дождя идёшь, как по дну чашки с остывшим недопитым чаем пуэром.

— А почему никто не спрашивает меня, что я думаю? — обижалась одна девочка.

— Просто никто не знает, что ты думаешь, — утешал девочку добрый волшебник.

Одна девочка выбирала себе спутника жизни по запаху, ходила и принохивалась, но однажды девочка простудилась, и нос сильно заложило, она спешила по делам и встретила симпатичного мальчика, ей пришлось на бегу принимать решение и думать головой, о своей ошибке она жалела потом всю жизнь.

Одна девочка привыкла всегда и во всём полагаться только на саму себя, но однажды девочка набрала лишний вес, и полагаться на саму себя ей стало очень и очень тяжело.

Один мальчик повёл свою девочку на кинокартину «Лето». Девочке так понравился фильм, что прямо посередине сеанса она ушла от него к Цою.

Одна девочка закрылась в высокой башне и запаролила двери, сказала: «Пусть благородный рыцарь попросит прощения. Лишь затем ему откроется дверь!» Рыцари со всей округи, из дальних стран съехались, чтобы попытать счастья, набирали: «извини», «прости», «смилуйся» и даже «пардон», но дверь не открывалась. Мимо проходил свинопас, он тоже решил попробовать, ведь жил он в свободной стране, где отменены классовые предрассудки. Свинопас набрал: «извини», и дверь со скрипом стала открываться. «Входи, мой рыцарь, я ждалась!» — услышал он волшебный голос принцессы.

У одной девочки была очень строгая бабушка. Она кормила девочку капустой с отрубями, а после шести вечера не давала вообще ничего есть. Трижды на дню бабушка рассыпала коробок спичек по полу и заставляла девочку нагибаться за каждой спичкой. Девочка часто жаловалась на бабушку своей лучшей подруге, говорила, что мечтает избавиться от вредной старухи. Подруга слушала, слушала, а потом подкараулила злую бабушку на улице и забрала себе.

Одна девочка всё умела, но жила плохо, не хватало ни денег, ни времени на себя. Отчаявшись, девочка пришла к доброму волшебнику и пожаловалась на судьбу.

— Так и быть, — ответил волшебник, выслушав девочку. — Я научу тебя ничего не уметь.

— Как это? — удивилась девочка.

— О, это великое искусство, им в совершенстве владеют многие, но, кто овладел искусством ничего не уметь, тот живёт, ничего не делает, но всё у него есть. И, главное, — тут волшебник сделал многозначительную паузу, — главное, — такой человек даёт другим людям почувствовать себя нужными и незаменимыми, а бывает, что и хорошими людьми даёт почувствовать своим существованием такой вроде нелепый и ничего не умеющий человек.

Жила-была одна добрая девочка. Она не пила и не курила, ела овощи строго по часам, ухаживала за одинокими стариками и

бездомными животными, пекла вкусные безглютеновые пирожки и раздавала их на бульваре прохожим ещё тёплые.

— Девочка, девочка! — обращались к ней равнодушные прохожие. — Чего тебе надо, чего ты хочешь?

— Я хочу, чтобы вы все сдохли, — отвечала девочка с доброй улыбкой.

Одна девочка хотела выйти замуж, но любить никого не собиралась, не хотела ни о ком заботиться, она пришла к доброму волшебнику за советом. «Найди мальчика, которого не любила мама, он не заметит отсутствия твоей любви и заботы, вы будете счастливы!» — ответил волшебник и пошёл готовить ужин.

Одна девочка пожаловалась доброму волшебнику, что ей поставили несколько диагнозов трудно диагностируемых заболеваний, она совсем растерялась, не знает, что теперь делать и где брать деньги на лечение. «Знаешь, в моей юности эти болезни не диагностировали», — ответил волшебник и переместил девочку во времена своей юности, где девочка тотчас исцелилась.

Один мальчик и одна девочка случайно познакомились в социальном лифте и весело провели время вместе, но потом мальчик вышел на своём этаже, а девочке пришлось ехать выше.

Одной девочке не платили денег. В голову никому не приходило, что девочке нужно платить. Весь её вид, голос, пластика тела сообщали, что платить не нужно. Девочка бралась за любую работу, но ей нигде не платили. Девочке приходилось предельно аккуратно обращаться с вещами, ела она мало, не пила алкоголь и не курила табак, выглядела великолепно. Одному мальчику стало жалко девочку, и он полез в карман за деньгами, но Господь схватил мальчика за руку и сказал: «Не порть мне девочку, у меня на неё свои планы».

Одна девочка, умирая, обещала одному мальчику ждать его. Мальчик остался один и терпеливо ожидал встречи с девочкой за гранью физического существования. Однажды время мальчика

пришло, он умер, долго искал возлюбленную тень и нашёл. «Прости, я встретила другого», — ответила тень и затерялась в толпе теней.

У одной девочки было двое детей, и дети постоянно болели. На работе девочкой были недовольны, потому что она всегда опаздывала или сидела на больничном с детьми. Девочка пришла к доброму волшебнику и сказала, что у неё больше нет сил так жить. «Найди себе такого парня, с которым ты обо всём забудешь!» — посоветовал волшебник. Девочка вскоре встретила парня и обо всём забыла: танцевала и пила шампанское, хохотала целыми днями, а дети от радости за маму выздоровели и больше никогда не болели.

Одна девочка любила выпить, но ей давно было не с кем, потому что все её предали. Девочка не любила пить одна и выпивала сама с собой, сама себе подливала, смеялась собственным шуткам, и, когда девочка напивалась окончательно сама с собой, бросала себя спать на осенних листьях, а сама уходила, потому что у неё были ещё дела.

— А как узнать, что у мальчика разбитое сердце? — спросила одна девочка доброго волшебника.

— Попросить его попрыгать. Если сердце разбито, внутри будет звенеть и гроыхать. Или постучать по груди палкой. Если сердце не разбито, звук будет, как у хрустальной вазы, а у разбитого сердца звук глухой, — ответил волшебник.

— А как узнать, что у мальчика нет сердца? — спросила одна девочка.

— Это не просто, девочка, — печально ответил волшебник. — Для этого тебе придётся долго жить с мальчиком, а потом развестись.

Одну девочку тошнило и рвало от поэзии, но она продолжала ходить на поэтов и досиживала выступления до конца, а потом бежала в туалет, прикрыв рот ладонью.

— Зачем ты так себя мучаешь? — сочувственно спрашивал добрый волшебник.

— Ты не поймёшь, — отвечала она.

— Почему? Я же волшебник! — возражал волшебник.

— Ты никогда не был девочкой с лишним весом! — огрызнулась девочка.

— Ошибаешься, — ласково ответил волшебник.

Один мальчик полюбил милую девочку, но девочка сказала, что станет его через десять лет. Мальчик согласился подождать. Добрый волшебник много повидал чудесных превращений и знал, что время — самый злой и беспощадный из всех волшебников.

— Через десять лет твоя девочка превратится в рептилоида, — сообщил волшебник мальчику.

— Ну и что! — возразил мальчик. — Я всё равно её люблю, я тоже превращусь в рептилоида.

— Нет, не превратишься, — печально ответил волшебник.

— Это ещё почему? — удивился мальчик.

— Не судьба, — ответил волшебник и ушёл, чтобы мальчик не почувствовал обмана. «В рептилоида было бы неплохо, но она превратится... боже, в кого она превратится, какой ужас!», — думал волшебник, на ходу превращаясь в тыкву.

Одна девочка ходила на все выставки, не потому что любила искусство, а потому что ощущала себя непристроенным экспонатом.

— Я хочу, чтобы ты была счастлива! — сказал один мальчик одной девочке.

— А что ты хочешь получить за то, что я буду счастлива? — осторожно спросила девочка.

— Ничего! — восторженно ответил мальчик.

— Извини, моё ничего уже принадлежит другому, — ответила девочка.

Одна девочка берегла свою любовь для самого достойного, но очень боялась ошибиться. Она пришла к доброму волшебнику спросить совета.

— Отдай тому, кто тебя обманет, — ответил волшебник.

— Зачем? — удивилась девочка.

— Этот хоть в чём-то стараться будет, иначе пропадёт даром твоя любовь, — печально сказал волшебник и убежал.

Одна девочка очень хотела выйти замуж, но у неё не складывалось. Однажды она разозлилась и пообещала уничтожить жизнь идиота, который на ней женится. И вскоре девочка встретила свою любовь и позабыла страшное обещание, данное себе, а злая судьба ничего не забыла.

Когда одна девочка сильно уставала и приходила в полнейшее отчаяние, она ехала на пару дней в родной городок набираться сил. Там она гуляла по разбитым улицам мимо руин завода, на котором сгинул отец, встречала одноклассников, с трудом их узнавала, слушала ночные крики и проклятья, доносящиеся отовсюду, и представляла, что её ожидает, если она останется здесь жить. Силы быстро возвращались к девочке, бодрая и отдохнувшая, она мчалась в Москву бороться за своё будущее.

Одна девочка мечтала посвятить себя науке, но злая колдунья предупредила, что если девочка займется наукой, у неё вырастут большие чёрные усы. Девочка не испугалась усов и посвятила свою жизнь науке, а усы у девочки так и не выросли.

— Злая колдунья ошиблась? — с надеждой спросила девочка доброго волшебника.

— Боюсь, что не совсем, — ответил волшебник, запинаясь. — Возможно, ты занимаешься не совсем наукой.

— А чем, чем же я занимаюсь? — настороженно спросила девочка.

— Всякой хуйнёй, всякой хуйнёй! — воскликнул волшебник и превратился в покойного философа Пятигорского.

Одна девочка продрогла до костей и зашла в кафе погреться.

— Выпейте стаканчик вина, — предложил девочке незнакомый мальчик.

— Сволочь, лучше бы отопление починил! — огрызнулась девочка.

— Извините, мы ещё даже не знакомы, я просто предложил вам выпить стакан вина, — удивился мальчик.

— Тогда ладно, — ответила девочка и, внимательно оглядев мальчика, добавила: — А потом пойдём, покажу тебе отопление.

Одна девочка очень любила стихи, но не ходила на поэтические вечера, потому что там сидели одни бабушки. Прошли годы, девочке сообщили, что бабушки пропали с вечеров и теперь там тусуются классные девочки и мальчики. Девочка начала ходить на все вечера, старалась не пропустить ни одного и однажды обнаружила себя в окружении бодрых бабушек с вкраплениями дедушек, в тот миг смутная догадка посетила девочку, но она прогнала морок и погрузилась в волшебный мир поэзии. 

Аля Хайлина

* * *

Мама всегда стрижётся у тёти Оли
С тёплыми и уверенными руками.
Пролитое вино посыпают солью —
Соль от вина синееет и намокает.
Новое платье пахнет сухой ромашкой,
Немилосердно яростно жмёт под мышкой
Папа поест и сможет помочь с домашкой.
Мама поест превратившееся в ледышку.
Вечный порядок праздничного застолья:
Голодно ждать гостей, вот звонят, открою,
После закусок дышать можно только стоя,
После жаркого ты уже сам жаркое.
Кто-то споёт, а кто-то раздаст советы.
Чай наливают в сервиз с золотистым блеском.
Торт разбирают по сумкам, несут в салфетках.
Завтра случится завтрак по-королевски.
Вспомнишь пиры — и кисло во рту до дрожи,
Нет, ты не станешь мучить детей подобным.
Новое платье сидит удобней, чем кожа,
Правда вот кожа становится неудобной.
Прошлое ходит мимо и смотрит немо,
Ни поворотом, ни взглядом не намекая.
Яростно трёшь глаза и глядишь на небо.
Небо, предатель, синееет и намокает.

Ежедневное

Ребёнок пахнет виноградом
И летним садом.
Он говорит, что спать не надо,
Хотя и надо.

Он залезает на подушку,
Потом когтями
Он цапает очки за дужку
И больно тянет.
Он хочет пить и хочет писать
Попеременно.
Он хочет (дальше длинный список,
Причём немедленно)
Дай чашку, нет, не надо чашку,
Отдай мне чашку.
(Моление о чаше с чаем.
Пролог. Три части.)
А я ругаю, и рыдаю,
И обещаю.
И чай отвергнутый страдаю,
Но поглощаю.
Но вытерты вода и щёки,
Просохли лужи.
Глаза становятся, как щёлки,
Дыханье глубже.
И вот она — моя награда,
Мой лавр горький.
Ребёнок спит, как виноградник
На тёплой горке.
Раскинув ноги, руки, кудри,
Воздушным змеем.
И можно встать, пойти на кухню
А я не смею.
А я лежу неслышно рядом
(Всё затихает)
Вдыхаю запах винограда
И выдыхаю.

Жасмин

Ну что, играем. Глубоко вздохни
Вот здесь, в дырявой праздничной тени,
Пропахшей расцветающим жасмином.
Здесь муравей, спешащий по делам,
На миг разрезан светом пополам.
Отличный снимок.
Жасмин (чубушник, всё равно жасмин)
Растёт сквозь время, что ни делай с ним,
Такой же белый в пять, как белый в тридцать,
Как облако, как сливочный пломбир,
В кармане хватит мелочи, греби,
Да, можно рыться.
А это я. А это тоже я.
А это половинка муравья,
Вторую видно, если приглядеться.
Вот куст жасмина, пышный, как омлет,
А вот соседи двадцать с лишним лет
Везут младенца,
И рот его распахнут, чёрно-бел.
Я постарался и не постарел,
Обзаведясь фланелевой пижамой.
Но это мы обсудим в холода.
А нынче тень и лепестки. И да,
Твой ход, пожалуй.

Начало марта

А вот зажгли фонарь. И он моргает,
Пытаясь к темноте приноровиться,
Прищурившись, нащупывает резкость
Сквозь бахрому рассыпчатых жучков.
Вот кто-то в дом распахнутый вбегает
И дом скрипит навстречу половицей
И кто-то в кресле, то есть просто кресло
Приветственно глядит поверх очков.

Да, кто-то прибежал, а нам-то топать.
Луна переключила свет на дальний
И шупает холодными лучами
Кусты и в них сидящего кота.
Зажгли фонарь. Притормозил автобус.
Слезятся фары. Горстка чемоданов
Поспешно облетает, не прощаясь.
Сердито отступает темнота.
Да, вот зажгли фонарь. И золотое
Мешается в пропорции привычной
С прозрачно-серым, с бежевым, как кожа
Носов новорождённых медвежат.
И так тепло держаться за ладони
Моей перчатке с толстой рукавичкой,
Что вот они без нас уже в прихожей,
Прижавшись тесно, нежные лежат.

* * *

Не спи. Из-под ресниц, украдкой
Ты сможешь различить углы
Громоздкой, неуклюжей, краткой
Предутренней молочной мглы.
Вот дом безмерный, полнотелый —
Чудной волшебников сундук.
Ползут по тёмным стенам тени
Троллейбусных тяжелых дуг.
Вот опрокинутым стаканом
Глядит на дом фонарь-софит
А в доме тикает, стекает,
Вздыхает, тянется, сопит.
Не спи. Не спи. Дыши укромно.
От этой будничной любви
Отрежь себе ломоть огромный
И крошки пальцами лови.
Вот клён, склонившийся над домом,
К луне прижался, шелестя,

Как будто слушает ладонью
Толкнувшееся в ней дитя.
И по толчку, как по сигналу,
Отряхивая капли с век
Вступает невозможно-алый —
Единственно возможный свет.
Твой шаг теряется, ужавшись
Среди колёс и башмаков,
Из дома пахнет убежавшей
Молочной манкой без комков.
Не спи, вступай со слабой доли
В мотив троллейбусов во мгле,
Солёных крошек на ладони,
Кленовых листьев на земле.

Лев Либолев

Герой без поэмы

Когда-то закроем предъявленный счёт,
хоть как от судьбы ни скрывай и ни прячь нас.
Повинную голову меч не сечёт
за спешку, за спесь, молодую горячность.
За нами написанное впопыхах
без всякого чувства, пустое, сырое.
Поэма, что вышла, увы, без героя,
как проза в стихах.

Ах, страсть неофитская. Материал —
слова, словно птички для гнёзд собирая
под тихое — что, берега потерял,
добрался, паршивец, до самого края?
От всякого сора чужого кормясь,
других одеяешь, в глаза им не глядя.
как просто теперь не остаться в накладе,
попёрла же масть

для всех эпигонов ахматовских строк,
цветаевских тоже, но это сложнее.
Когда бесконечных прощаний урок
судьба преподносит, ругаешься с нею,
но ищешь зацепки, берёшь у других,
не думая, что и ответить придётся,
когда выставляется по-идиотски
талант на торги.

Так пишется реквием, не согреси,
не нужно кружиться глазливой вороной,
считая не скорбь, но чужие гроши
за губы предавшие, дом разорённый.

Не нужно рассказывать, словно сексот,
о том одиночестве, мёртвой прохладце
отвергнувших глаз. И нельзя похвалиться —
Господь не спасёт.

Герой без поэмы, всё наоборот —
где имя морское и милый в крылатке.
Так сладок сплошным целованием рот,
но если растались, остатки не сладки.
Счёт будет предъявлен, казнить не спеши,
поэзия... Просто ломай и увечь нас.
Калекам бескрылым положена вечность
усталой души.

Червь сомнений

Уездный город, небо тканое,
провинциальный говорок.
Здесь нет ни Авеля, ни Каина,
их Бог от свары уберёт,
не дав родиться в местной одури,
прославившейся только тем,
что двое, празднующих лодыря,
зовут свой флигель — наш Эдем.
Здесь всё намешпано, здесь искони
в любое лето — суший рай,
а двое жителей так искренни,
что хоть ложись и помирай —
воскреснешь тут же, на окраине
в кузнечиковой стрекотне...
Сорвёшь плоды, тугие, ранние —
что есть запретней и вкусней?
Ладонь, коровка божья, зяблики
полощут крылья в облаках...
И червь сомнений в райском яблоке
спит, не разбуженный пока.

Верфь

И ни города нет, ни любви, никаких других
не забытых напоминаний из тех времён,
где на краденом счастье табличка — побереги.
Если Бог существует — повесил табличку Он.
Из непонятых истин — портовая суета,
виноградники к морю сползают, боясь песка.
Если что-то упущено было — так наверстай,
если что-то попало — хватай и не отпускай.
Всё на месте — наш город и море, песок, вода,
старый судоремонтный и в доках стоят суда.
Этот вечный прикол называется — навсегда,
потому-то и тянет порой заглянуть сюда.
Тут изъедены ржавчиной древние якоря,
тут ислёваны чайками рыбные потроха,
тут живёт наше прошлое, попросту говоря,
от которого нынче осталась одна труха.
Распиваешь бутылку с бригадой шальных сварных,
отрезаешь кусочек на память, берёшь в сейчас
от когда-то своей, а сегодня чужой страны,
от любви, от земли и от города эту часть —
наше детство и юность, и молодость — Бог поймёт
и простит потому, что вернуться уже никак.
И отсыплет щедрот — наш Создатель совсем не жмот,
а его появление — это вернейший знак.
Вот Он, вечный ремонтник угробленных нами шхун,
наших лодок разбитых, судёнышек на мели.
Этот город, по-прежнему, так же красив и юн,
и поэтому встретиться мы только здесь могли.
Вот и манят к себе эти доки, причалы, верфь,
где мечты разрезают, а после сдают в утиль.
А Всевышний смеётся — какая там смерть, не верь,
смерти нет, мой хороший, я попросту пошутил.

Наутилус

*И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.*

Иосиф Бродский

Помнишь время и место, и на кассете —
Наутилус, хозяева сушат сети
на шестах у моря, прибой накатом —
просто рай, по случаю сжатый в атом.
Там песок и мидии, а по пояс
как войдёшь, собрать их немного, то есть,
ободрать их несколько прямо с пирса...
Как хозяйин? Слышала, будто спился.
А хозяйка? Нет её. А детишки?
Где трава пониже, вода потише,
там они теперь — в городах и странах.
Нам с тобой уже ничего не странно,
всё давно обыденно, чинно, строго,
и уже не встретиться у порога
дома старого, что стоял на сваях.
О минутной после, но часовая
так бежит стремительно мимо рая,
всё, что было некогда, отбирая —
древний домик, пристань и соль на камне.
Помолчи пока, не пиши пока мне
ничего про то, что мы оба помним,
ничего о море, таком огромном,
что его не выпить — не хватит пыли.
Ничего про то, как меня любила.

К себе

Куда от себя? Никуда.
Не спрятаться и не укрыться.
Уходят в былые года,
взрослеют царевны и принцы.

Ни сказок, ни пафосной лжи,
все браки давно по расчету.
Кому-то любовь предложи,
так скажут — о чём ты?

И вскладчину пьём и гудим,
считая копейки в карманах,
когда-то дойдёшь нелюдим,
до поздних ночей недреманных.
С бутылкой один на один,
со сборником сказок и песен.
Фантазий своих господин,
смешон и помпезен,

как нищий, проевший свою,
когда-то бессмертную душу.
Ты был тут уже? Дежавю.
Молчащий, пустой и потухший,
строчи эти сказки, блефуй,
в пространство ругаясь и щерясь,
подсядь на пустую лафу,
безбожную ересь.

Но из дому не выходи —
в историю влипнешь, не надо.
Довольно во впалой груди
кругов персонального ада.
Все пройдены до одного,
и всё же, к себе возвратиться
за этой земной синевой
мечтает и птица.

Ступай же с грехом пополам,
не плача, не воя, не горбясь,
по старым лесам и полям
в какую-то дальнюю область.

Где на поселениях сплошь
сидельцы в рисунках набитых.
Где вечное вынь да положь,
не сдвинуть с орбиты.
Где ягод полно и грибов,
гробов, истевающих в глине.
И где на ладонях любовь
отыщется в сетке из линий.
Где суд — это просто тайга,
где бурый медведь прокурором.
Где припалый опасней врага,
приезжий на скором

опаснее в тысячу раз —
досужий столичный писака.
Он только на пакость горазд,
болтающий разное и всяко.
И родина примет в ножи
чужого тебя, святотатца...
Ты сколько о ней ни пиши,
не сможешь остаться.

И снова уедешь, собрав
у старых былины и притчи,
лишенный каких-либо прав,
под яблочный запах коричный.
Из личного ада с трудом,
усталый и переболевший,
как будто бы из дому в дом,
как будто — к себе же.



Юлия Ефременкова

Трамвай в сочельник

В тринадцать лет Саша перестала верить в Деда Мороза, и адрес новогодних запросов перевела на кремлёвские часы. Она загадывала им разное: поездку в Париж и сошедшего с ума от влюблённости Вовочку, ботинки «Доктор Мартенс» и бесплатное поступление в универ, независимость от мамы и мужчину, который предпочёл бы футболу просмотр Акиры Куросавы или чтение Буковски за бутылкой вискаря. И не умереть бы, не умереть бы в этих новых годах. Часы на Спасской башне желания исполняли исправно, но как только она переехала в Берлин, оказалось, что границы существуют не только в головах и картах, но и в территории чудес. Возможно, она пила не то шампанское или опаздывала с онлайн-трансляцией на речь президента на доли секунды, или надо было встречать Новый год с курантами, но по берлинскому времени, или повесить на ёлку того космонавта, с которым перемигивалась с двух лет. Три года Саша загадывала, что выучит немецкий в совершенстве и напишет роман, про который Дмитрий Быков скажет «бомба», а Галина Юзефович забудет про «Маленькую жизнь». А тот мужчина, который футболу предпочитал просмотр Акиры Куросавы, должен был как-нибудь выйти из бара, заглянуть в книжный магазин и выбрать её, а не нового Иванова/Прилепина. Немецкий Саша не выучила, роман не написала, и даже желание «не умереть бы» исполнялось как-то не так. Умирала, несколько раз за три года уже умирала, но всё же продолжала просыпаться и выходить из квартиры в Берлин.

Бабушка в детстве пугала Сашу, что та тоже скоро состарится и не заметит жизнь. «Так... Несколько платьев сменишь, покружишься, в зеркало посмотришься пару раз — и конец». Саша не вслушивалась серьёзно в бабушкины монологи о скоротечности дней, но именно в Берлине заметила, что время замедлилось, освободилось, но в итоге пошло быстрее, чем на

часах. «Год, два, три. Ну хоть что-нибудь уже выходи. Учись, немецкий, пипись, роман, живи, Саша, люби мужа, не умирай», — приговаривала она над адвент-календарём за семейным ужином в немецкое Рождество. Родственники мужа в честь такого праздника напивались кипячёным вином, поправляли медальки «за удачную интеграцию в Германию» и готовили Саше экзаменационные вопросы о планах на лето и оставшуюся жизнь.

— Не знаю, — заранее, не дожидаясь вопросов, начала отвечать она, — Может, кота заведу для моего кота. Или уипшета серого. Нет, детей не хочу. Не знаю, может, в Тарусу поеду или на Бали. Не знаю, может, вагоновожатой в Берлине стану или книгу напишу. Вот не учится у меня немецкий. Тошнит уже от него. Три года ему посвятила. Лучшие годы свои!

Муж, из-за которого Саша и оказалась в Берлине, за любым застольем с родственниками всегда уходил в телефон, да так далеко, что каждый раз потом уверял, что ничего не слышал, ничего не помнит, и вообще хорошо время провёл на Ebay. И на этот раз он, видимо, ушёл туда же, потому что защищаться перед комиссией родственников не помогал.

— А я говорила, сразу надо было на немецкий вам с Мишей переходить.

— А я говорила, нечего на эти курсы немецкого ходить — в бар пойдёшь работать и заговоришь.

— Да что там коты. Вы детей рожать когда будете? А форшмак с оливье совместим? Ты или рожай или работать давай выходи. Мы тоже там были юристами-экономистами — ничего, перестроились как-то.

— Хумус надо на холодец мазать!

— Ах, Люся! Мы же забыли гуся приготовить! На рождество немцы едят гуся!

— Ты, Сашка, просто с русскими кончай общаться, и будет всё хорошо!

С некоторыми русскими Саша решила кончить общаться прямо сейчас, и, не дожидаясь коллективного выковыривания изюма из штолена и выхода мужа из Ebay, раздражённо хлопнула дверью и выбежала в унылый двор на границе Марцан-Лихтенберг. Вечный ноябрь, а не Рождество. Вечные панельки.

Вечный промозглый дождь. Сбой во времени произошёл у Саши, возможно, из-за отсутствия зимы. Организм требовал снега и убийства болезнетворных микробов хорошим морозом, но вместо этого серый дождь растекался по Саше, превращая её в женщину средних лет с зелёным цветом кожи. Саша оглядела празднично украшенные окна в одинаковых домах и почему-то вспомнила школьную подругу Олю, которая не отличалась терпеливостью и любила ставить ёлку уже в октябре.

— Девушка, простите, но у вас колготки порваны! — говорит Саше куда-то спешащий, обгоняющий её человек.

— Ви битте? Я не расслышала. Их хабе нихт гехёрт.

— Это не очень красиво, девушка. Праздник же! — непонятно, серьёзно или шутливо отвечает человек. Сам он одет весьма нарядно — лаковые ботинки, сиреневый пиджак, бархатная шляпка и шелковый шарф. Наверное, спешит в оперу. Хотя нет, в пухлых руках пластиковый пакет с затёртой надписью «Лидл», и сжимает он его так, что родственная национальность распознаётся без слов. Так же, видимо, как и Сашины рваные колготки, которые она пыталась замазать лаком для ногтей. Нет, они не в оперу.

Саша услышала грохот трамвая и тоже начала спешить, догонять обогнавшего человека. Ехать Саше, в принципе, было некуда, так как ключи от дома остались у мужа, но об этом она подумала уже в трамвае, который пришёл совершенно пустой. Человек, обеспокоенный Сашиными колготками, сразу уселся у окна, а Саша, растерявшись от такого большого выбора свободных мест, попробовала то одно, то другое, и поплелась к третьему, вспоминая, что надо купить в автомате билет. Хотя неужели в сочельник в трамвае окажется контролёр, святой же праздник.

Трамвай как-то сразу успокоил Сашу, ей стало хорошо от того, что здесь нет ни ёлки, ни гусей, ни ангелов, ни песен про святую ночь. Нет никакого Рождества, а скорость движения ускоряет жизнь и замедляет Сашино время. А что, если и правда стать водителем трамвая? Отличная же будет интеграция! Саша Беркович — водитель трамвая. В Подмоскowie мечты такие, конечно, в голову ей не приходили, так как в жизни были

сплошные маршрутки. «Деньги при входе или при выходе? Дверью не хлопайте. Деньги будете передавать? С тысячи сдачи нет — выходите. Остановите здесь. Нет-нет, вот там!» Водитель трамвая — Саша Беркович. «Во что бы то ни стало мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановиться?»

— Девушка, да что вы там стоите? Присаживайтесь!

Человек, обеспокоенный Сашиными колготками, чувствовал себя в трамвае как дома. Достал из пакетика «Лидл» вино, бутерброды, фрукт каки и мандарин.

— Не надо грустить, вот, угощайтесь! У меня такое поганое настроение было — пойти некуда, а спать не хочется. Знаете, так праздники раздражают, тем более чужие. Включил себе «Нелюбовь» Звягинцева, думаю, самое время. Открыл вино, пожарил картошку, а тут звонок: «Дуй, Вася, к нам, у нас Володя Сорокин здесь. И настойку польскую прихвати». Читали Сорокина? Зараза ведь, как всё точно угадал. Как всё понял заранее. Вот же... Мастер! Помните «Метель»? Текучая бесконечность жизни, которая в любой момент может закончиться в бесконечных русских полях. Дорога чёртова... Сожрёт тебя, не задумываясь. Только в России такое ощущение, правда? Здесь идёшь по жизни прямо, спокойно, и всю жизнь тебе ещё фонари подсвечивают.

Саша взяла мандарин, фрукт каки, возможно, немьт, вино из горла негигиенично, а бутерброд... ну, мало ли, в нём берлинские кипечные палочки.

Сорокина Саша несколько раз в Берлине встречала и даже минут десять сжимала его правую руку, после чего год не могла ничего написать, кроме статусов в фэйсбуке про тоску по хрустящим огурцам и сочной хурме. Она была уверена, что Сорокин тогда что-то такое с ней проделал, что-то перелил из неё в себя, надавил на точку на указательном пальце, известную только ему, после чего она, как замороженная, как самая послушная из свидетельниц Иеговы, поплелась домой к ноутбуку и села на него. Стёрла полромана, повесть, рассказы о любви. «Вы слишком женственны, слишком хрупки, чтобы писать серьезную прозу, а ерунду за вас напишут и так. Будьте умнее — рожайте красивых детей. Не теряйте время». Но дети по желанию Со-

рокина никак не рождались — вытекали из Саши кровавыми сгустками, выходили опшмётками, похожими на куриную печень. А гинеколог говорит: «У вас слишком низкий гемоглобин, фрау Беркович. Вам нельзя пока детей». А время идёт и теряется. Нет ни детей, ни романа. «Ты, Сашенька, — говорила бабушка, — скоро тоже состаришься. Не успеешь оглянуться, как подумаешь — да куда же делась вся моя жизнь? Быстрее, время уходит, но эта мысль не даст тебе жить. За что хвататься, чтобы не упустить?»

А что, если часы на Спасской башне не виноваты в том, что не исполняются чудеса? А что, если всё дело в Сорокине? Может, это он виноват в том, что время уходит, роман не пишется, а серый дождь разводит по телу старость, как Баба Яга и Кощей Бессмертный колдуют и воруют в сказках Новый год?

— А можно с вами к Сорокину?

— Да, пожалуйста, ради Бога, поехали. И вообще давайте сделаем вид, что сегодня Новый год! С новым счастьем!

«Действительно счастье, — подумала Саша, — увидеть Сорокина до Нового года и отрезать ему палец. Загадать желание кремлёвским часам и написать, наконец, что-то непохожее на кровавые опшмётки неродившихся людей».

— А я Саша Беркович. В Германии три года. По профессии юрист, — рассказывает она о себе механический текст, заученный на бесконечных курсах немецкого.

— А я Василий. В Германии давно. Художник, поэт. Сейчас, правда, паузу в творчестве сделал, на зубного техника учусь.

Василий снимает шляпу, и Саша вспоминает, что встречала его недавно в инстаграме с бокалом вина у Хафеля и на поэтических вечерах, где он читал без всякого выражения медленные стихи про берлинский марафон. У него тогда тряслись губы, и понять она ничего не могла, так как думала всё выступление: «Почему же он не побреется налысо? Зачем трусливо прячется в нелепую шляпу? Вот побрился бы, и совершенно другие пошли бы стихи».

— А вы почему, Василий, паузу в творчестве сделали?

— Да дерьмо я пишу. Раньше ничего. Был потенциал. Печатался даже. А потом посмотрел на себя со стороны... Сорокин вот, кстати, сказал, что по моим стихам сразу видно, что

мне бухгалтерией и налогами заниматься надо. Интонация такая у меня.

— А за руку он вас, Василий, не держал? А гемоглобин у вас как?

Оказалось, что и Василия Сорокин держал крепко за руку и жал указательный палец, после чего Василия несколько дней рвало, а потом началась бессонница. Домашний врач посоветовал пить ромашковый чай и хорошего психотерапевта, наверняка такое самочувствие обусловлено тоской по родине. Психотерапевт прописал Василию таблеточки и физическую активность на свежем воздухе, и нечего писать стихи. Сапа хотела высказать Василию предположение, что тоска по родине ни при чём, а всё дело в Сорокине. Что Сорокин колдун и с помощью пожатия рук забирает у литераторов талант и ненаписанные тексты переливает в себя, не зря же у него во всех книгах стиль такой разный. Сапа высказать ничего не успела, так как трамвай остановился на Александерплац не на привычной остановке, а напротив деревянного столба с вращающимися ангелами, на который, покачиваясь, мочился высокий парень с цветными дредами. Двери открылись, и парень, застегивая, одной рукой шпиринку на штанах, а другой приветствуя вагоновожатого, вошёл в трамвай и сразу объявил:

— Билеты, пожалуйста! Готовьте ваши билеты!

Сапа метнулась к дверям, но выбежать не успела, двери закрылись, а контролёр повторил ей в лицо:

— Билеты, пожалуйста! Готовьте билеты!

Контролёр не был похож на контролёра и выглядел скорее как растаман-дауншифтер из Гоа, который на недельку приехал на родину по делам. В России Сапа хвасталась своей проницательностью, сверхспособностью считывать характеры людей, но в Берлине оказалось, что границы существуют не только в головах и картах, но и в таланте видеть личности людей. Сашин дар на немцев не распространялся.

— С праздником, уважаемый! Давайте выпьем! Ваше здоровье! — поднимая бутылку в сторону контролёра, кричал Василий.

— Ваши билеты, пожалуйста! Где ваши билеты? — монотонно повторял контролёр, — если у вас нет билетов, то я выпишу вам штраф.

— Да иди ты в жопу, какой ещё на хрен штраф? Сегодня праздник. Давай выпьем! — кричал Василий, который перестал прикрывать шляпкой лысину, снял шарф и пошёл с пакетиком «Лидл» прямо на контролёра. Сейчас Василий не был похож на поэта с Хафеля, а выглядел точно как Колян, сосед по даче на Рузе, который как выпьет — выходит с топором по лесу погулять и кричит, то ли себе, то ли лесу: «Убью, проклятый!»

Это был первый раз, когда Саша попалась контролёру без билета, и первый раз, когда Василий бил человека в лицо. Никогда он не мог представить себе, что способен на такое. Хорошо, что бутылка упала и покатила по трамваю в противоположную сторону от него, и не пришлось её поднимать над головою контролёра, убивать его за грязные дреды и за отказ не выписывать в честь праздника штраф. Василий не видел лица контролёра: его словно кто-то окатил липкой волной с тошнотворным запахом заблёванных станций метро. Стало дурно, а перед глазами, как битые новогодние игрушки, замелькали осколками те неприятные фрагменты, которые Василий гнал обычно из головы в сон. Рыжая мёртвая жена смотрела из гроба на Василия, ожидая, когда он сдержит обещание и перевезёт их с сыном из Воронежа, наконец, в берлинский дом. Только обещал он это до две тысячи двенадцатого, а теперь-то как? Жена умерла от рака, сын переехал куда-то сам, а он, Василий, бегаёт в костюме «пума» на берлинских марафонах и читает об этом стихи. Василий наносит удар не в лицо человека, он бьёт в одиночество, бессмысленность, пустоту, неудачливость своей сорокапятилетней жизни. Что-то хрустит, падает — семидесятипятилетняя мама Василия, которую он навещает раз в год, зовёт яркими бусами на новогодний наполеон, но Василий не может дойти — он тонет в гигантском русском поле, которое никогда не перейти, и ничего не понять.

Контролёр от неожиданного удара потерял равновесие и покатился вслед за бутылкой, перестал повторять «Билеты, приготовьте ваши билеты, иначе выпишу штраф». Водитель трамвая

объявил остановку, открыл двери и выпустил пассажиров у праздничной телебашни, которая переливалась из зелёного в синий, а из синего в жёлтый, возносилась острой пикой в тёмное небо. «Как макушка на странной ёлке, — подумала Саша, — Берлин же как ёлка».

— Я шляпу забыл в трамвае, — дрожащим голосом чуть слышно сказал Василий.

— Да ну её! Бежим!

Они бежали в сторону Николайфиртель, туда, куда не идёт трамвай. Бежали, взявшись за руки, почувствовав себя героями тупого боевика, сбросив несколько лет и множество правил. Пробегая мимо Красной ратуши, Саша заметила, что часы показывают без минуты двенадцать.

— Быть может, немецкое Рождество — это и правда как русский Новый год? Надо загадать желание, следя за стрелкой часов! — предложила Саша. — В новом году я хочу выучить немецкий, написать роман и остаться живой!

Василий сел на корточки перед часами и зашептал что-то своё.

— Василий! А давайте грохнем Сорокина? Отрежем палец ему? Чтоб желания уж точно исполнились, а?

Письмо Вере (апельсиновый маньяк)

04.03. — ? (2019? 2009? 1999? 1989? 1979?) Берлин — *Cimetière de Clarens* (Швейцария)

Милый, добрый Ознобысч,

засыпал вчера тяжело, тревожно, с отвращением к темноте и предстоящему разрыву с сознанием. Крутил в голове старые стихи и солнце 1926 года в Груневальде, наши письма про компоты из черешни и твою фотографию из Шварцвальда. Надеялся, что всё приснится, повторится, ухвачусь за воспоминание, как за точку света, останусь на поверхности жиз-

ни, но треск дождя по подоконнику тихо повёл меня в черноту, затолкал в неё, спрятал на шесть часов, на двадцать, а может, на месяц? Год? Сто двадцать?

Скунксик, сейчас утро и снова дождь. Лежу, не хочу шевелиться. Серая муть сквозь занавески ползёт по комнате, натягивает на стены сырую плёнку. Розы на столе стареют и осыпаются. Вчера весь день провёл дома, размышляя над новым рассказом и уже был готов его записать, как вспомнил, что приглашён на встречу русскоязычных литераторов. («Аутопсия русского текста», что-то такое.) Засобирался, засуетился. Принял душ, побрился. Натянул новые джинсы, водолазку, синюю дутую куртку, посмотрел в зеркало и... рассмеялся. Переоделся в светлый костюм, шерстяную жилетку, которую покупали ещё в Париже, накинул плащ, захватил шляпу, вышел на улицу и замер. Во дворе у мусорных баков стояла невысокая женщина в длинном чёрном пальто, зелёном берете и чистила апельсин. Я поздоровался с ней, но в ответ услышал что-то тихое и невнятное.

— Хорошего вам дня. И спасибо. Очень приятно выходить из дома и чувствовать запах апельсинов, а не канализационных отходов.словно я в Таормине, а не в Берлине.

Женщина ничего не ответила. Отвернулась. Может, она не поняла моего немецкого? Я подошёл к ней поближе и повторил на английском. Несколько оранжевых корок посыпались на ржавую кашу прошлогодних листьев, я зачем-то нагнулся за ними как за уроненным платком, но как-то неловко повернулся и задел рукавом её сапог. Корки снова посыпались. Тонкий высокий каблук приподнялся и прижал оранжевый кусок. Муренька, я не успел увидеть её лица, звучит странно, но оно всё расплылось, разъехалось на дольки, мелкие ворсинки и косточки. Она резко топнула и быстро постучала в сторону Карл-Маркс-аллеи. Чёрное пальто, зелёный берет, апельсины — вот и всё, что я могу сказать о ней.

Аутопсия русского текста. «Вот это — я и призрак чемодана, вот это — я, по улице сырой идущий в вас, как будто бы с экрана, и расплывающийся слепотой». Козлик, я стоял в костюме, плаще и шляпе во дворе у мусорных баков и никуда не шёл.

Держал апельсиновые корки чужой женщины и уже совершенно забыл про встречу литераторов. Дул ветер. Свинцовые тучи неслись на меня. И я поплёлся по стальной брусчатке, через лужи и высокие панельные дома, за запахом цитруса. И вышел почти в открытое море — на широкую Карл-Маркс-аллею. Небо совсем почернело, в глаза полетел песок, тёмный гравий, и казалось уже, что сейчас накроет высокой волной, размажет ветром о колонну сталинского ампира, но я заметил яркое солнечное пятно у входа в бар с надписью *Antik*. Перешагнул апельсин, открыл дверь и, милое моё, как ты можешь догадаться, увидел ту самую женщину. Она сидела за барной стойкой и изучала меню. Зелёный берет, густая чёрная чёлка. Пальто лежит рядом. Я сел за дальний стол, накрытый дешёвой красной клеёнкой, и сразу заказал нефilterованное пшеничное пиво, хотя единственное, чего мне действительно хотелось в тот момент, был апельсиновый сок. Резкий приступ дурноты, как тогда в Праге, когда я не ел больше месяца цитрусовые, сжал горло со спазмом, закружилась голова, я начал таять, проваливаться в слабость, но смог удержаться, убежал из бара, поднял брошенный у двери апельсин, прошёл в туалет, сполоснул его водой и прямо там у рукомойника принялся его есть. Что-то звериное, голодное вселилось в меня, мой мысч. Сочные брызги попадали на светлый костюм и в глаза, обжигали, но я не мог остановиться и откусывал апельсин прямо с кожурой, захлебывался кисло-сладкой мякотью, глотал косточки, и жажда переходила в голод, а голод в жажду. Я увидел себя в зеркало и не узнал — бледное молодое лицо с жёлтыми каплями под носом. Я — апельсиновый вампир, моя радость. Умылся, немного успокоился, прошёл к столу, глотнул пива и устался на женщину. Она что-то быстро непонятным потоком слов и интонаций объясняла бармену. Поправляла чёлку. Поднимала бокал с розовым вином. И я всё никак не мог уловить её лицо: она то отворачивалась, то закрывалась руками, и ни разу не посмотрела на меня. Я пил большими глотками пиво, без всякого удовольствия, и хотел повторить апельсин. Кроме меня и женщины, в углу у игрового автомата в зарослях монстры сидел хмурый сонный мужик, пил колу и тыкал толстыми пальцами в мигающие кнопки, и, когда раздавались нервные сирены на экране, слегка подпрыгивал на стуле и протирал глаза.

Я подозвал бармена и спросил, на каком языке говорит женщина.

— Вьетнамский, — сказал он.

— О, вы знаете вьетнамский? Вы же понимаете её речь?

Бармен странно посмотрел на меня, словно я сморозил дикую чушь, и спросил не про вьетнамский, а английский язык.

— Вам повторить? Ещё пива?

— Я хотел бы апельсиновый сок.

— Сока нет, но могу предложить пиво со вкусом грейпфрута.

Пока я сидел за столом и ждал пиво, женщина допила вино, накинула пальто, запела непонятное. Я максимально напряг ухо и уловил: «Плохая погода, счёт, завтра, школа, рынок». Она стояла ко мне спиной, и я не выдержал — пошёл к барной стойке, взял меню и как бы случайно коснулся её руки. И вот уже должен был бы уткнуться в её лицо, извиниться, рассмотреть глаза, но она вздрогнула, отвернулась и вновь — чёрное пальто, зелёный берет, размазанные дольки, ворсинки, косточки. Поплыла, покатилась к двери. Из кармана пальто выглядывал круглый оранжевый фрукт. Тушканчик мой, всё потемнело, холодный пот прошиб меня, я оказался незащитным пятилетним ребёнком, который боится уснуть навсегда. И этот апельсин — единственная опора в абсолютной черноте, единственное солнце и свет, к которому надо прикрепиться и идти, как за волшебным клубком. Дверь открылась, женщина исчезла.

— Пожалуйста, ваше пиво со вкусом грейпфрута.

В углу бара сигнализировал игровой автомат, сонный хмурый мужчина захлопал в ладоши. Мой Кутищ, слишком темно. Я очень скучаю... В.

* * *

Вера, я понимаю, что я не Набоков, а ты не Слоним, что всё смешно, нелепо, сложнее, чем кажется тебе, проще, чем думаю я. Прости. Но ответь мне прямо — хочешь ли ты переехать ко мне в Берлин? Хочешь ли?

Проснулась сегодня разбитая, расстроенная, что воскресенье, одна и слишком поздно для полноценного нормального дня, и слишком рано, чтобы просто поесть и попытаться вернуться в сон. Вышла на балкон — дрозды поют, двор пустой, небо как мутный целлофановый пакет болтается над головой с утрозой удушья. На пятом этаже прямо над моим балконом — стук посуды и запах сыра камамбер. Тихая возня, мягкие шаги. Высунулась посмотреть — никого. За три года ни разу не видела, кто там живёт. Только шуршание, далёкий храп, дверные хлопки, иногда кашель. Звуки приглушённые, словно исходят из подсознания, а не от живых людей, которые едят и спят надо мной. Зажгла сигарету, попыталась курить, и сразу головокружение, озноб, воздух без кислорода — полуживую рыбу всё же засунули в пластиковый кулёк. Доползла до кухни, заставила себя выпить воды, восстановила дыхание. Придумала дело — дойти до блошиного рынка на Боксхагенер платц, заодно вынести мусор. Пижаму не передела, скрыла её плащом, ноги впихнула в угли. Захлопнула дверь, вышла на улицу и замерла. Нет, Вера, цитрусы, береты, женщины были вчера, сегодня же случилось другое. Телефон, связка ключей, кошелек — всё осталось в синей сумочке дома. Пошарила по карманам — пятьдесят центов и крошечный леденец. (Вот так я стала бездомной.)

Сорок четыре квартиры в подъезде, а позвонила зачем-то себе. Пока слушала молчание, читала именные таблички на входной двери — Клее, Крамер, Титман, Пауль, Риччи, Ти Туонг Ви Ха, Доган, Голински, Мюллер, Хоанг, Станелли. Нажала на соседей Хирш с пятого этажа. Такое же тупое молчание, как и от моей фамилии Бойко. Ещё раз. Молчание. «Ну же, Хирш, отвечайте, это я — та, над кем вы спускаете воду в толчке, чистите зубы, та, над кем вы проживаете свою беспумную жизнь. Отвечайте!» Позвонила ещё — послышалось какое-то шуршание, треск, звон посуды. «Поторапливайтесь, Хирш. Доедайте свой камамбер, допивайте вино». Ах, нет, Вера, это было лишь воспоминание звуков, а не шорох живых людей. Разозлённая, я начала стучать по всем табличкам с фамилиями одновременно, хаотично, бессмысленно, как по клавишам вы-

ключенного синтезатора. «Да где вы все? Есть кто живой, алё! Впустите меня в подъезд, я тоже хочу сидеть под Хиршами молча».

Домофон был явно сломан. Я постояла ещё немного у двери, в надежде, что кто-то выйдет или наоборот будет возвращаться домой. Чирикание воробьёв, влажные скамейки, блёклые тонкие тополя и вечнозелёный плющ над решёткой с мусорными баками, к которым тоже невозможно зайти без ключа. Положила пакеты с отходами в кусты, оглянулась — никого, словно я последний человек в этом дворе, но заметила под ногами опшётки газет, пластиковые стаканчики из-под йогурта. Собрала это всё в свои мешки и поплелась по вчерашнему маршруту. Зачем выходила из дома? Зачем придумала коллективное ковыряние в пыльном старье? Иду теперь внезапно бездомная, в пижаме, без телефона, без друзей. Нет, дружественные знакомые есть, но как к ним попасть без телефона?

Карл-Маркс-аллея выглядит сегодня как после штормовой берег, только вместо скрученных водорослей и выброшенных морем кораблей — перевёрнутые велосипеды, рваные ветки, фрагменты сталинского ампира на земле. «Вот это — я и призрак чемодана, вот это — я, по улице сырой идущий в вас, как будто бы с экрана, и расплывающийся слепотой». Прости, что снова Набоков, прости, что вместо того, чтобы заполнять документы на визу, искать преподавателя немецкого языка для тебя (да и для себя), заниматься сбором информации про регистрацию брака в Дании и подсчётом будущих вероятных затрат, я бесцельно тащусь по Берлину с мешками дерьма.

У станции Штраузбергплатц я увидела первых людей за сегодня — пожилая пара, словно молодые любовники, сидели, прижавшись друг к другу на скамейке, и кормили булкой голубей. Я подошла к ним поближе — они не обращали на меня никакого внимания, мужчина трясущимися пальцами выковыривал крошки, женщина хриплым голосом просила птиц набраться терпения, не спешить. Рядом со скамейкой стояла урна, я заглянула в неё, подумала: вот сейчас избавлюсь от мусора, станет легче, и сразу решу, как попасть домой.

— Вы ищете бутылки, да? — обратился ко мне таким же дрожащим, как и его руки, голосом пожилой человек. — Я же говорил тебе, Эмма, что у сборщиков бутылок нет выходных дней. Или есть?

— Что ты пристаёшь к женщине? Отдай ей наши бутылки и всё.

Я была так удивлена, что меня приняли за сборщика мусора, что не стала возражать, покорно взяла две пустые пивные бутылки «Варштайнер» и дальше пошла по Карл-Маркс-аллее.

— Хорошей вам недели! — донеслось мне в спину.

— Спасибо. И вам! — любезно ответила я.

Меня начинало знобить, хотелось встать под горячую воду, потом чай с имбирём — и в кровать. Небо затягивалось неприятной тёмной плёнкой, поднимался ветер, пыль обжигала глаза. Какие-то прохожие были, но все они шли мимо, неуволнимо, неярко, как отражения в витринах закрытых кафе. Я не решалась подойти к ним, попросить о помощи. Слишком посторонние. И тут вспомнила про вчерашний бар Antik. Вот оттуда и позвоню в службу аварийного вскрытия замков.

От пивных бутылок воняло помойкой больше чем от мусорных пакетов, душный перегар с запахом лекарств. К горлу подкатывала лёгкая тошнота. Я приближалась к станции Франкфуртер Тор, когда услышала полицейские сирены, громкоговорители, нарастающий гул. Толпа, как огромная волна цунами, обрушилась на меня, закрутила в потоке и понесла. «Расизм — не альтернатива». «Нет травле мусульман». Я почувствовала острую боль в спине, слабость, попробовала вынырнуть, нащупать под ногами дно. Первыми полетели бутылки, потом порвались пакеты, посыпался мусор, я задержала дыхание и всплыла. 

Дарья Рубо

Тяжёлое детство коня Боджека

— Вообще ты работаешь хорошо.

Эту фразу сказал мне начальник после непродолжительного обмена приветствиями и дежурными вопросами вроде «как дела?» Эта фраза не сулила мне ничего хорошего, так как за ней непременно последует какое-то «но». Какое-то «но», которое я, скорее всего, не могу исправить, «но», которое полностью нейтрализует позитивное начало, «но», от которого мне будет неловко, с которым я ничего не смогу поделать.

Я смотрела на начальника, ожидая сокрушительного продолжения.

Он смотрел на меня своими большими голубыми глазами в обрамлении пушистых ресниц и модных очков. У него были чуть приподняты брови, как будто ему уже заранее жаль, как будто ему неловко это говорить.

— Но есть одна проблема.

— Да, и какая же?

Разговаривая с ним, я не прекращала натирать до блеска ножи и ложки, смачивая их в уксусной воде. «Вот, посмотри, какой я прилежный работник, ни на секунду не останавливаюсь, и даже когда нет людей в ресторане, я нахожу чем заняться. Смотри, какие блестящие ложки, какие у тебя со мной проблемы могут быть», — думала я про себя.

— Твоё лицо...

— Что с моим лицом? — прервала я его на половине фразы и посмотрела ему прямо в глаза.

Его брови поползли ещё выше, казалось он сейчас заплачет.

— У тебя всегда такое отсутствующее лицо! Ты как будто не здесь. Ты неприветливая! Когда люди сюда заходят, ты должна улыбаться!

— Я улыбаюсь.

— Ты должна от души улыбаться.

— Ты же помнишь, что ты мне *Mindestlohn* платишь, да?

— Я всем так плачу, но другие улыбаются, они тут, а ты вечно отсутствуешь.

— Одиннадцать евро в час, и я улыбаюсь от души, по рукам?

— Мы должны сократить штат.

Я поняла, к чему шёл этот разговор, и по спине пробежал холодок. Это не была работа моей мечты, но мне там нравилось. Мне нравились люди, которые там работали, и некоторые из тех, кто туда приходил. Это работа была отпуском от себя самого, в течение восьми часов жизнь сводилась к простым функциям — сделать кофе, принять заказ, сказать «здравствуйте», «добрый день», «что желаете», «спасибо», «до свидания», «приходите ещё». Улыбаться, умиляться младенцам, говорить, что собака милая, соглашаться, что погода ужасная, уносить грязные чашки на кухню, приносить чистые чашки из кухни. Восемь часов, когда жизнь проста, разговоры поверхностны, и мир полон взаимных улыбок. Я надеялась, что вписалась в эту идиллию, что меня приняли за свою.

— Нам надо сокращать штат, и придётся тебя уволить

— Кого ещё?

— В смысле?

— Ну, ты сказал, что нужно сокращать штат, значит, ты уволишь меня и ещё кого-то.

— Вообще-то нет, только тебя.

— Это какое-то странное сокращение штата, больше похоже на увольнение одного сотрудника... одного сотрудника, который улыбался не от души.

— Слушай, я уверен, что ты найдешь что-то ещё. Тем более, ты никогда не выглядела тут счастливой.

Я не выгляжу счастливой последние лет двадцать, ещё маме в школе говорили: ваш ребенок не выглядит счастливым, не вписывается в коллектив и участвует в драках. Это не новость, никого ты этим не удивишь, но это какой-то сомнительный повод для увольнения. Я же больше ни с кем не дерусь.

Всё это проносилось в моей голове, пока я стояла и молча смотрела на начальника, на его собравшиеся на лбу домиком брови. Я не нашла ничего лучше, как продолжать полировать ложки.

— Мне жаль, что так вышло, я переведу тебе деньги за последний месяц.

— Окей.

Я выходила из кафе, чувствуя себя неважно. Я с тоской подумала о том, что теперь придётся искать новую работу и производить положительное впечатление на очередных незнакомцев.

Я пошла привычной дорогой в сторону дома, но на середине пути свернула к метро. Наверное, нужно навестить Макса.

Последние месяцев пять мы с Максом занимались сексом под сериалы *Netflix*.

— Могла бы позвонить, прежде чем прийти, вдруг меня бы не оказалось дома.

— Но ты же дома.

— Но мог бы быть не дома!

Я сняла ботинки, забралась с ногами на огромный диван, занимающий полкомнаты. Ноутбук стоял тут же, уже включённый, я решила проверить, появились ли новые серии моих любимых сериалов. Вот только заметила, что Макс стоит у двери в комнату, смотрит на меня и не двигается. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Я открыла пачку арахисовых чипсов, которые принесла с собой, отправила большую горсть в рот и продолжила смотреть в экран, надеясь, что Макс просто сядет рядом, а я предложу ему чипсы. Но он спросил: «Почему ты спишь со мной?»

— Что?

— Почему ты спишь со мной?

— Потому что это у тебя неплохо получается.

Я засунула в рот ещё одну горсть чипсов и стала интенсивно жевать.

— Я серьёзно.

— Я тоже.

— Я кое-кого встретил.

— Кого?

— Девушку.

— Классно! Смотри, есть новая серия «Рика и Морти» и «Коня БоДжека».

— Ты больше не можешь приходить ко мне.

— Почему это?

— Ей не понравится, если она узнает.

— Как она узнает?

— Отношения должны строится на доверии, что-нибудь слышала про это?

— Слышала, что доверие — это круто. Давай, иди уже сюда, я думаю, посмотрим «БоДжека».

Макс ушёл на кухню, в меня больше не лезли чипсы.

Я осталась одна в комнате, я казалась себе маленькой по сравнению с гигантским диваном, я казалась себе маленькой по сравнению с огромной комнатой, потолок казался слишком высоким, фикус угрожающе нависал надо мной. Пора уходить.

Я зашнуровывала ботинки, когда Макс вышел из кухни.

— Понимаешь, я просто хочу, чтобы всё было по-настоящему.

Я не знала, о чём он, не знала, что на это ответить, в дурацких ботинках было слишком много крючков для шнуровки, они всё никак не заканчивались.

— А она. Она такая живая и настоящая.

— Улыбается, наверное, от души.

— Что?

— Та девушка, которую ты встретил, она улыбается от души?

— Ну да, наверное, да.

— Спроси, может ей работа нужна.

— Что ты несёшь?! Вот, вот видишь, в этом ты вся — с тобой невозможно разговаривать, ты несёшь какую-то чушь, ты разговариваешь сама с собой. Ты тут, но тебя как будто нет!

Я наконец-то совладала со шнурками, схватила куртку и выбежала из квартиры. На улице было холодно, даже машины и тротуар побелели от инея, мне не хотелось снова спускаться в метро, и я пошла домой пешком.

Припорошённый снегом Нойкельн пытался выдать себя за обычный европейский город перед Рождеством — вот украшения на окнах, вот рождественские венки с четырьмя свечами для каждого воскресенья декабря. Но даже под уютным снегом неистово мигала неонов вывеска борделя, на ней слово «массаж» сменялось словом *Love*. Мутные пацаны продавали траву, ещё более мутные — героин. Бары были под завязку набиты людьми, стёкла в них запотели, все старались спрятаться от холода. На улицах остались только безумцы, бесконечно таскающие за собой пакеты и сумки. Они, укутанные в одеяла, шли к только им известной цели, громко рутаясь, выкрикивая что-то. Вся улица наполнилась этими криками, за каждым поворотом кто-то стонал, вопил или плакал, взывал к невидимкам, спорил с воздухом. Мне показалось, что если я останусь на улице дольше, то увижу тех, с кем они спорят, увижу того, к кому они обращаются, сама закричу, сама начну спорить. Прямо перед моим носом оказалась дверь бара, и я торопливо зашла.

Внутри было жарко, люди стояли, плотно прижавшись друг к другу, мелькали бокалы, всё вокруг было в блёстках. Возле барной стойки танцевала девушка, закидывая голову и поднимая майку так, что можно было видеть её грудь.

— Классные сиськи!

— Спасибо, милашка!

— Выпьешь со мной?

— А то!

Мы опрокинули по рюмке какого-то пинапса.

— Почему ты такая грустная?

— Ой, только ты не начинай.

— Я знаю, как тебя развеселить!

Она достала блёстки из кармана и стала сыпать их на меня — на голову, на плечи, а те, что остались на ладонях, она размазала по моим щекам.

— Смотри, ты теперь как из космоса, ты теперь как из сказки, это млечный путь!

Она смелась и танцевала, танцевала и запрокидывала голову. Мы выпили ещё.

— Пошли вниз!

Вниз вела лестница, в подвале было темно, играл диджей, плотная масса людей двигалась в одном ритме.

Я пробиралась вглубь через потные горячие тела, все они слились в единый организм, в одно существо, которое проглатывало меня и переваривало: гигантский, скользкий, горячий желудок сокращался вокруг меня.

И хорошо, пусть так, пусть так, я подняла руки, закрыла глаза и танцевала вместе со всеми, подчиняясь общему движению. Меня уносило куда-то далеко от этого места, от меня самой, пока слова, громко сказанные в ухо, не вернули меня обратно.

— Хочешь нанюхаться?

Передо мной стоял симпатичный парень в чёрной футболке.

— Ты делаешь предложения, от которых невозможно отказаться!

Мы пошли в сторону туалета, по пути я увидела девушку с блёстками. Кто-то слизывал млечный путь с её голой груди, а она всё так же закидывала голову назад.

Мы зашли в туалет, парень раскатал по дорожке.

— Ты кокаинный Санта Клаус, приносишь подарки детям, которые хорошо себя вели?

— А ты хорошо себя вела?

Он посмотрел на меня пристально и чересчур серьёзно.

— Я не очень хорошо себя вела, но мне положен утешительный приз. Меня сегодня уволили.

— О, бедная ты, мне жаль. Где ты работала?

— В кафе.

— Ну это не сложно, ты сможешь найти другое кафе.

— Ну а ты? Ты точно не в кафе работаешь.

— Я архитектор.

— Вам, похоже, вместе с дипломом выдают пакет отличного кокса.

Мы поднялись к бару и увлечённо о чём-то разговаривали. Парень уместно и смешно шутил, кокаин делал из меня открытого и общительного человека. Все истории казались удивительно увлекательными. В какой-то момент после шутки про передоз я стала рассказывать содержание одной из серий «Коня БоДжека».

— Вышла же новая серия!

— Да! Я пыталась посмотреть её сегодня, но у меня не получилось.

— Так пошли ко мне, возьмем ещё вина и посмотрим её вместе.

— Отличная идея.

Мы вышли из бара, зашли в ночной киоск, купили вина и арахисовых чипсов. Парень жил через две улицы от бара, в старом доме с лепниной. Его квартира была раза в два больше моей, один комод стоял как вся моя мебель.

Мы забрались на огромный диван и включили сериал на проекторе. В этой серии БоДжек опять причинял всем массу неприятностей.

— Думаешь, он такой мудака, потому что у него было несчастное детство?

— Я думаю, он просто так мудака. Чтобы быть мудаком, не нужна причина.

— Ты только что разгромила к чертям весь психоанализ.

— К чертям психоанализ! Ты видел хоть одного, кому бы он помог?

— Хорошо, что же ты предложишь взамен?

— Тяжёлый труд. Тяжёлый труд и самодеструкция.

— О, это прямо девиз моей жизни!

Почему-то меня это очень насмешило, я заливалась смехом, приваливаясь головой к его плечу, смеялась и не могла остановиться. Он тоже засмеялся, смеялся вместе со мной, а потом взял меня рукой за горло и поцеловал.

Я перестала смеяться.

Его рука сильнее сжималась на моём горле.

— Ты ведь за этим сюда пришла?

Я выдавила из себя: «Нет».

— Не ври мне, сука, ты пришла сюда, чтобы я тебя выебал. Ты будешь делать, что я скажу тебе, ясно?

Он с силой вдавливал мою голову в диван.

— Ты поняла меня?

Я кивнула. Тогда он отпустил моё горло.

— Можно я в туалет схожу?

— Попроси вежливо, — сказал парень и влепил мне пощечину.

— Можно я, пожалуйста, в туалет схожу?

— Иди.

Я медленно вышла из комнаты, а в коридоре схватила свои ботинки и куртку, вылетела за дверь и помчалась дальше вниз по лестнице.

Парень крикнул мне вслед: «Эй! Я думал, тебе так нравится! Погоди!»

Я обувалась уже на улице, а потом снова побежала через перекрёсток, ещё через один, рождественские венки, гирлянды, елки, безумцы, их пакеты, их крики. Сука, ты же этого хотела! Твоё лицо! Ты должна улыбаться! Улыбаться! Все улыбаются! Ты за этим сюда пришла? Она у вас какая-то неуравновешенная, не вписывается в коллектив, нос постоянно разбит, не заводит друзей, нарушение привязанностей, а что же дальше? Нужно быть добрее, нужно быть открытой, так тебя никто не полюбит, ну что у тебя с лицом, ну что не так, где ты опять, ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня слышишь?! Ты тут? Тебя как будто нет. Ты тут, но тебя как будто нет. Тебя нет, тебя нет, тебя нет!

Я бежала всё дальше и дальше, холодный воздух обжигал лёгкие.

Фотобудка, два евро — четыре фотографии.

Замёрзшими руками я пропихивала монету в щель автомата. Скорей! Скорей!

Четыре вспышки.

Автомат загудел, нагрелся.

Ну, ну, давай же!

Да давай уже!

Наконец выдал полоску с четырьмя фотографиями.

На каждой моё испуганное лицо.

Мои глаза.

Мой рот.

Мой нос.

Подбородок мой.

Я смотрела на фотографии и улыбалась. Ну вот, вот же я!

Я есть.

Я здесь.

Здесь я.

Я есть.

Я выдохнула и уже медленно пошла в сторону дома.

Нужно хорошенько выспаться и искать завтра новую работу. 

Дмитрий Вачедин

Чудовище

Однажды я месяц не разговаривал с женщинами — не то чтобы я не хотел, просто они все куда-то пропали, все кроме продавщиц в супермаркете. Вокруг плыло берлинноградское лето — зелёное, влажное, пожаробезопасное, тут чиркнешь спичкой — она даже не загорится, может быть, рассмеётся тебе в лицо. В городе не осталось женщин, по крайней мере в западной его части, где я жил. И я бы ушёл, но мне идти было некуда, так что я вертелся где-то поблизости.

— Стой где стоишь, хэнде хох! — сказал голос в мобильнике.

Я машинально поднёс его к уху, после глянул на экран — это был Леонид. Оглянулся по сторонам, я шёл где-то возле Курфюрстендамма, но теперь остановился, поднял руку вверх и помахал в воздухе факом. Леонид довольно рассмеялся.

— А зайди-ка ко мне в офис! Я тебя из окна вижу.

— Понял уже, — ответил я. — Какое здание-то?

— Справа от тебя, то, что побогаче. Пятый этаж.

Леонид работал в глянцевом русском журнале, который выходил сначала раз в месяц, потом раз в три месяца, и давно, я думал, прекратил существование. Журнал сделали в эпоху сильного рубля, когда в Европу катили такие вот крепыши, оглядывались по сторонам, и всё им казалось дешёво, и главной задачей было как-то отвязаться от денег, куда-то их самым бессмысленным образом просадить, поехать в Россию и набрать там ещё. Теперь рубль падал, журнал никому был не нужен — не читать же его, в самом деле, — но, оказывается, продолжал некое посмертное существование — офис был завален свежими номерами. В большом прохладном помещении Леонид сидел один, в белой рубашке — я поёжился, на улице было нежарко, но кондиционер тут работал на полную — перед ним лежала мятая газета.

— Глянь, что нашёл, — сказал он, тыкнув в неё пальцем.

— Раньше за этим ездили в Шотландию, теперь достаточно купить билет на с-бан. В Чёртовом озере туристы заметили странное вытянутое тело — неужели там живёт чудовище? — прочитал я.

— Понял? Чудовище в озере! Давай проведём расследование.

Я повертел газету.

— Слушай, ну двухгодичной давности, желтизна какая-то, нет ни фотографии, ничего.

— Тема-то какая! Поговоришь с местными, слухи, хуё-моё, как ты умеешь.

Он помолчал.

— Я эту статью в коробке с итальянскими туфлями нашёл, которые пару лет назад купил, — признался потом зачем-то.

Ни за что бы не стал браться за эту тему, если бы не эти туфли. Надо же, подумал, мудака муذاком, а тоже что-то человеческое есть, туфли старые бережёт.

— Вы же сотрудникам не платите, — сказал я, хотя всё уже решил.

Вместо ответа он вытащил из кошелька зелёную стоевровую бумажку.

Через несколько дней я стоял на берегу Чёртова озера и смотрел на другую сторону — там в каких-то зарослях стояла цапля, тоже смотрела на меня. Лето было холодным, на озере почти никого не было, на поляне, на которой в жаркие дни помещалось несколько сотен nudистов, лежала только парочка геев лет, наверное, пятидесяти — я только что прошёл мимо, когда спускался к озеру. Подумав, я вернулся к ним — они оба были щупленькими, с отличными татуировками, подстриженной щетиной и бритыми членами, которые лежали не параллельно ногам, а как-то на сторону, как будто двигались по кругу, как стрелки часов.

— Эй, ребята, вы не встречали в озере ничего странного? — спросил я.

— Э-э-эй. Что ты имеешь в виду?

— Какой-нибудь большой зверь.

— Мне кажется, самый большой зверь тут ты. Юрген, ты видел зверя больше?

Юрген поднял голову, коротко взглянул на меня и молча положил её обратно.

— Окей, извините!

Они ещё что-то кричали мне в спину, но я уже не слушал, снова спустился к озеру, разделся, разложил вещи на выпирающем из песка корне, надел плавательные очки и пошёл в воду. Под ногами был песок с обычным озёрным набором из ила, головёшек, нераспознаваемых чайнок каких-то, как на дне чашки с чаем. Когда пальцами ног я уткнулся в озёрную траву, то остановился, растёр по стёклам очков слюну, чтобы они не запотевали, и поплыл к ряду буйков, которые отделяли нудистскую часть озера от заповедника. Вода была зелёной и прохладной, с глубиной она быстро темнела — не очень охотно пропускала солнечные лучи. Я доплыл до нового, белого и блестящего, праздничного вида буйка, снял очки и огляделся. Чудовища не было видно — оно спало на дне, или не знаю, что оно делало. На поверхности я был один.

Поплыл к пластмассовому понтону — островку, который торчал посередине озера, чтобы веселые нудисты могли на нем загорать. Забрался, лёг, солнце уже заходило и почти не грело, но пластмасса была приятной, тёплой, разделённой на дольки, казалось, что ты лежишь на шоколадной плитке «Риттер Шпорт». Почему-то подумал, что нахожусь, наверное, в самой нижней точке Берлинограда, от станции я всё время шёл вниз, казалось как-то правильно, что чудовище живёт именно здесь. Озеро со всех сторон окружал лес, ещё были видны белые купола заброшенной прослушивающей станции и закрытая сейчас будка спасателей. Вдалеке виднелись две тёмные фигурки — геи по-прежнему лежали на поляне. Я закрыл глаза.

Когда дул ветер, листья звучали как аплодисменты, машины с лежащего километра в трех автобана проезжали с тихим небесным звуком, будто дорога шла по облакам. Озеро тоже издавало звуки — иногда рыбы выпрыгивали из воды со слишком серьёзными для такого занятия лицами, будто они занимались спортом. Моё тело остывало — я чувствовал это

будто с какого-то расстояния, будто сам положил кусок мяса в холодильник — вот оно теперь лежит, остывает. Присутствие чудовища не мешало мне, скорее, я был ему благодарен за повод оказаться тут.

Я задремал, провалился куда-то, и в каком-то тумане услышал женские голоса — ветер принёс их издалека, но говорили явно на русском, я явственно услышал слово «расчёска». Какое-то время я наслаждался звучанием, плыл вместе с ним, это не были голоса эльфов или русалок, это был голос Наташи с соседнего двора, очень родной и очень понятный звук, но не было ни Наташи, ни двора, было холодное берлиноградское озеро и длинная холодная жизнь впереди. Я очнулся, открыл глаза, вскочил, почему-то занервничал, стал осматривать берега. Меня очень смущало, что я голый. Девушек не было, звуки исчезли, геи уже как приятелю помахали мне рукой. «Окей», — сказал я сам себе, надел очки и нырнул в озеро, которое равнодушно проглотило меня, несколько секунд я провёл в темноте, весь остальной мир превратился в небольшое мутное светлое пятно наверху, потом вынырнул, мир опять появился, поплыл туда-сюда вдоль буйков.

Выйдя из воды, я решил обойти озеро, пособировать местные легенды. Оделся, поднялся на пригорок, огляделся — всё вокруг было серенькое, незаметное, смотришь на дерево, отворачиваешься — уже и не помнишь, на что смотрел, пахло сыростью, вообще вокруг не было ни одного острого запаха, какие тут чудовища. Я медленно пошёл по дорожке, остановил спортсмена, бежавшего с каким-то проводом во рту — наверное, он просто пил воду из специального гаджета, но выглядело это довольно инопланетно.

— Никого не видел, но, знаешь, не удивлюсь, — сказал он, услышав про чудовище. — Сейчас тут кого только нет в лесу. Мимо беженцев сейчас пробежал. Чего им тут делать?

— А чего с местными легендами? — спросил я.

— Говорят, раньше была нормальная страна — такая вот легенда, — сказал он, сплюнул и убежал, скрылся за кустами.

После спортсмена долго никого не видел — я свернул на боковую тропинку, решил держаться поближе к озеру.

Спустился, перепрыгнул какой-то ручей, вновь поднялся — и услышал их, голоса, Наташу с соседнего двора. А через пять секунд увидел трёх русских девушек, празднично и ярко одетых, в какие-то обтягивающие синтетические блузки. Одна из них носила корсет — кажется, так называется эта ребристая штука на завязочках. Они ничего особенного не делали, одна вроде бы заклеивала пластырем натёршее место на ступне — они носили какие-то изящные босоножки, не очень удобного вида, наверное, натёрла нежную кожу тесёмкой. При моём появлении они замолчали, а я так ошалел от увиденного, что тоже не нашёлся, что сказать, хотя тропинка была узкой и мне пришлось протискиваться сквозь них — что было странно делать, никак это не комментируя. Протиснулся молча, прошёл метров десять, остановился и всё-таки вернулся.

— Привет! — сказал я им по-русски.

Я надеялся, что сейчас они мне помогут продолжить разговор, но надеялся я зря. Они что-то хмыкнули, одна тоже сказала «привет», но куда-то в сторону — дереву.

— А как тебя зовут? — спросил я девушку, поздоровавшуюся с деревом.

Это была загорелая блондинка с чуть раскосыми татарскими глазами и кожей оливкового цвета.

— Мама Светой назвала, — ответила она не слишком дружелюбным тоном. Как меня зовут, не спросила. Но я всё равно задержался там.

Уходить не хотелось. Хотелось стоять и смотреть, как они наклеивают на ноги пластырь, поправляют друг другу тушь на ресницах — почему-то казалось, что они занимаются именно этим. Я так давно не видел женщин, а теперь встретил сразу троих, и выглядели они, как выглядели девочки на дискотеке в пионерском лагере в девяносто седьмом году на реке Луте в ста тридцати километрах от Питера. То есть прекраснее всего, что есть на земле.

— Вы купаться пришли? — выдавил я из себя, наконец.

— Ебаться! — рывкнула девушка в корсете.

Я ещё секунду постоял, но не нашёл, что сказать, пошёл прочь. Минут через пять вспомнил, что забыл спросить их о

местных легендах. Но это было, наверное, совсем лишнее. Ноги сами вывели меня на станцию, я вернулся в Берлиноград, над западной его частью пошёл крупный — каждая капля с полстакана — мужской дождь, он бил меня по башке, пока я не успокоился. Пришёл домой, не раздеваясь, мокрый, лёг спать. Утром взошло солнце, всё высохло, и я тоже стал сухой, твёрдый, по мне можно было стучать как по дереву.

Я полюбил Чёртово озеро и приезжал теперь туда почти каждый день. Чудовища я не встречал, русских девушек тоже, зато познакомился со странными особенностями этого водоёма — если заплыть за крайний буйёк, в заповедную зону, и посмотреть на пластмассовый островок, то он казался невероятно далёким — будто смотришь в подзорную трубу на полярную звезду, хотя в реальности до него было метров триста. Озеро искажало пространство, играло в какие-то свои игры, но до меня ему дела не было. Иногда сквозь плавательные очки я видел над ним радужное сияние, но, может быть, виноваты были стёкла.

В августе Берлиноград опустел. Как-то ночью я прошёл четыре километра домой от Бойссельштрассе — с-бан перестал ездить, что-то сломалось там на кольце — и не встретил по пути ни одного человека. Девушки с озера несколько раз приснились мне в довольно несложной эротической фантазии, потом исчезли, растворились. Я совсем одичал, несмотря на широкие улицы, задевал плечом туристов, изредка забредавших в шарлоттенградский парк, не извинялся, шёл дальше, однажды ночью меня разбудил орган — католическая церковь в моём дворе, молчавшая целый год, — какие уж тут католики — решила напомнить о себе. Я вышел на балкон, музыка летела наверх, а оттуда падали звёзды. Я снова лёг и заснул без сновидений. Хорошо чувствовал себя только если с головой погружался в Чёртово озеро, выныривать не хотелось. Я привык к этому тёмному изумруду, там, под водой, было комфортно — я чувствовал себя в большом торжественном помещении, может быть, в малахитовом зале Эрмитажа — вдоль стенок стоят гномы в ливреях и дуют в начищенные до блеска трубы. На тех, кто осмеливался залезть в озеро, я смотрел без всякой симпатии. Ревновал.

А потом снова услышал женские русские голоса — шёл к озеру и, уже без всякого пою, на главной ведущей к воде дороге увидел двух девушек. Они шли туда же, куда и я, и снова были одеты явно не для прогулки в лесу. Одна даже шла на шпильках. На меня они покосились настороженно и хмуро, но подходить мне уже не хотелось — я сделал выводы. Зажмурился и ускорил шаг, скоро они исчезли позади. Возле озера крутились ещё три русские девчонки, одна сняла босоножки и пробовала ногой воду с таким видом, как будто гладила незнакомую собаку. Я запретил себе обращать на них внимание, с ожесточением разделся, бросился в воду, сразу заплыл подальше — за буйки, к заповеднику, к цаплям, к корягам, к моей спокойной изумрудного цвета жизни. Но спокойствия не было, никакого спокойствия не было, мне казалось, что меня обложили со всех сторон, что на меня идёт охота, что по кругу расставлены русские девочки с их прядями, ресницами, лялочками, ногами, попами, нежной кожей, которую всё натирает, с выпщипанными и выбритыми волосками, со сладким дешёвым запахом. Я нырял поглубже, еле успевал вдохнуть и снова погружался — а вокруг озера раздавались крики, кричал мужчина, но я не слушал, потому что у меня было свое дело — и это дело было Чёртово озеро, и никто кроме меня не делал его лучше. Никогда. Ни один человек. Или не человек, всё равно — никто и никогда. К тому моменту, когда я вылез, уже всё затихло. Все девушки исчезли.

Я как раз одевался, когда ко мне подошёл Леонид с группой бандитского вида мужиков. Он был пьян.

— Слушай, чего-то с расследованием не ладится, — сказал я ему.

Почему-то я вообще не удивился его появлению.

— Никто про это чудовище не слышал. Нет никаких местных легенд. Это просто озеро.

Он махнул рукой.

— Да пофиг. Чудовище есть. Но мы не там его искали. Мы не врубались, что это за чудовище такое, — он положил руку мне на плечо, подошёл очень близко, понизил голос, чуть ли не зашептал. — Понимаешь, тут на озере наши русские девчонки из Марцана встречаются с беженцами. Тут общежитие недалеко. Ты можешь себе это представить вообще? Только с сирийцами

— такое условие поставили, никаких афганцев и пакистанцев — ну спасибо и на том. Короче. Бляди есть бляди. Конечно, там на районе, где пацаны, они такое позволить себе не могут, ездят на другой конец города. Но мы проследили. Вот оно чудовище. Понимаешь? И мы его нашли, расследовали и победили.

Я смотрел вниз, на итальянские туфли Леонида. Они были в крови — не очень заметно, чёрная кожа же. Но всё-таки заметно.

Я убрал его руку, положил очки и полотенце в рюкзак и пошёл к станции.

— Такое вот чудовище! — закричал он мне вслед и счастливо засмеялся. — Такой вот нахуй лохнесский монстр.

— Ты мудака, — крикнул я. — Они всё равно ушли уже. Все женщины ушли. Чего ты добиться хочешь, придурок? Какая разница, беженцы или ещё кто. Они ушли, нет их. От нас ушли. Потому что нас больше не хотят.

Один из мужиков дёрнулся, хотел подойти, но Леонид остановил его.

— Из-за таких как ты и ушли, — сказал он спокойно. — А мы вернём.

Я шёл к станции и прямо на меня, по дорожке, не сворачивая, шёл поток холодного воздуха. Он вертел и крутил сухие съёжившиеся листья, которые не выглядели настоящими красивыми осенними листьями, они выглядели как копии листьев из подручного материала, может, их в Китае тоннами заказывают, их не хотелось собрать и поставить в вазу, пролетая, они царапали кожу острыми краями. Наступила осень.

С-бан уже стоял на платформе, я побежал и едва успел втиснуться в вагон в закрывающиеся двери. Хотелось уехать, не хотелось задерживаться здесь больше ни на секунду. Я куда-то сел и, подняв глаза, увидел, что напротив сидит одна из девушек, которую я когда-то встретил на озере, кажется, Света — всё в том же нарядном, но запыхавшаяся, покрасневшая, как будто бежала через лес.

— Всю малину нам сломали, — сказала она очень простым голосом и улыбнулась.

Я огляделся по сторонам. Вокруг сидели женщины. Они возвращались в Берлиноград. 



Григорий Певзнер

* * *

...И перестоявшей смородины гроздь,
и тёплые ягоды на языке...
Июль цепенеет в истоме предгрозя,
уже погромыхивает вдалеке.
...И смятая мякоть, и шкурка на нёбе,
и тучи на небе, одна и одна,
вверху надо мною, а дальше — стеною...
И ласточки время слепили слюною,
в нём голубь увяз, не вернувшийся к Ною.
И времени бездна. И время без дна.

* * *

Словно без слов «прости»,
словно слова без смысла,
словно бы никогда,
смешанное с нигде,
тёмный асфальт блестит,
небо над ним нависло,
с неба летит вода,
город плывёт в дожде.

Утренняя печаль
вычурнее вечерней:
не укачаться в сон,
не запечатать явь.
Плача и лепеча,
тусклые, словно черти,
ангелы небосклон
пересекают вплавь.

* * *

Вечереет. Углы отчётливей.
Бог склоняется, всё разглядывает.
А потом что надо подчёркивает —
тут разглаживает, там раскладывает.

Бог присматривается попристальней —
вечер блики о пристань плещет, и
пацаны рыбачат на пристани,
а вокруг коты, как болельщики.

Бог присвистнул и с неба свесился —
явно в удочках разбирается!

...Парус солнце поймал и светится.
И луна над ним разгорается.

* * *

Мальчик в коротких штанишках сбегает к реке.
С мостика недалеко с хлебом в руке
женщина — под чепчиком-клобуком
коса, скрученная клубком —
крошки бросает уткам.
Разворот сделав,
одна чёрная и следом три белых
с небольшим промежутком
к ней плывут с интересом.
Дело к вечеру, а может быть, поутру.
Бельё полощется на ветру,
река, как кайма,
за нею фахверковые дома,
кирха подальше — повыше,
кирха поближе — пониже.
Короче, северный Гессен.
Этот в зеленоватых тонах гобелен

жил в моих снах, взяв меня в плен,
меж прутьев я пиялся на него вечерами
(кровать — маленькая тюрьма)
и засыпал. И лохматая бахрома,
ожив, кусала за пальцы меня,
а в оконной раме
к стёклам жались все страхи дня.
Я редко участвовал в детских играх,
болея, мечтал, никогда не дрался.
Воспитательница ноги пообещала выдрать
тому, кто усрётся. Я однажды усрался:
спальня, глаза зажмуренные, тихий час,
приближающиеся шаги... Пот прошиб и сейчас.

Детство врёт — я, мол, сказка, я сказочный грот!
Детство манит кротко — и кто не клюнул?
«Закрой глаза, открой рот!» —
прокричал мне Вовка. Я открыл. Он плюнул.
Детство составлено из частей:
рыба, сплошь состоящая из костей,
каша, успевшая подгореть слегка,
рвота от пастеризованного молока...
Я вижу нечто, что было мной:
чулки, резинки, нелепый лифчик...
Засыпая, я прижимался к стене спиной —
прикрывал тыл,
чтобы внезапно никто не схватил —
И всё равно, мальчик-с-пальчик,
я был счастливчик!
Я миру верил, хоть и не доверял,
паук над дверью покачивался и прят —
молча, без трали-вали.
Он ткал прозрачный свой гобелен,
и уж если кто попадал к нему в плен,
вырывался едва ли.

Но колен моих выше давали крен
одуванчики. Колокольчики мне кивали.
И шмели и пчёлы, жужжа свой дзен,
к ним склонялись, их выпивали
и целовали, не встав с колен.

А потом мир выросел, обнажая тлен,
штукатурка обваливалась со стен,
обретало жало, что с виду мило.
...Когда ткали в Германии мой гобелен,
из евреев варили неподалёку мыло.

Но с моей стены
белокурый мальчик из детской страны
каждый день сбегает, и всё по кругу.
Я живу теперь в Гессене — мы равны! —
и бегу к нему со своей стороны.
И мы машем друг другу.

* * *

Всё, вроде, сказано — дела-то давние.
Всё, что требовалось для понимания.
Маленький еврей из Майданека
проживает в Германии.

Он до подбородка мне, маленькому.
Всё, вроде, связано, всё искуплено.
Маленький еврей ковыляет по Марбургу,
шаркает здоровенными туфлями.

Маленькая жена его с мужем ладила,
мало разговаривала однако.
Она была из другого концлагеря
и умерла от маленького рака.

Много лет маленькому еврею,
маленькому еврею под девяносто.
Он приехал старым и дальше стареет,
добираться до кладбища ему непросто.

Марбург маленький, всё, считай, рядом,
но до кладбища с пересадкой — он не ездит почти.
Маленький сын их с потусторонним взглядом
молчит сквозь большие очки.

Он похож на мать, и, похоже, не получается
у рта его улыбкою растянуться.
А маленький еврей изредка улыбается —
изредка почему не улыбнуться?

Социальный район иногда называют гетто.
Маленький еврей не знает про это, живёт себе и не
помнит зла,
шаркает со своей сумкой, а если лето,
с русскими немцами забивает козла.

* * *

Река, Германия, рассвет
и фонари, сгущающие сумрак, —
предлог поговорить в предложном падеже.

О чём? — О чём-нибудь...
К примеру,
о велосипедистах,
которые, в карманы спрятав руки
и в воротник лицо, педалят мимо
(мороз успел им всем пощёчины отвесить.
Отвесил и ушёл.
Точнее, на траве
в замёрзших бусинках засел и замер,
надеясь продержаться)...

А ещё
о стайке голубей,
кружащихся пред тем как опуститься,
как те,
детёныши тетрадного листа,
запущенные из окошка класса...

Об эскадрилье, видимо, дроздов
(не разберёшь, поскольку вдалеке),
над деревом проделав полукруг,
запешшей на посадку
и на ветви
рассыпавшейся,
и в итоге
оставшиеся листья, будто птицы,
а между ними птицы, будто листья...

Об огорчённом карканье грачей,
о пустельге, стоящей, как эмблема
неведомо чего над кротким лугом,
над лугом утренним и над скоплением свежих
кротовых кратеров.

В разгаре
обычный утренний перформанс.
Солнце медлит,
вся сцена залита молочно-серым,
лишь задник чуть намечен акварелью.

* * *

Когда он как бы перерос свою смерть,
когда как бы временно на смерть положил,
смех его стал вновь похожим на смех
и вновь до слёз стала нравиться жизнь.

И лес стал вновь похожим на храм,
и поле сделалось полем опять.
Он с болью здоровался по утрам,
когда им обоим удавалось поспать.

Он гнома напоминал давно -
теперь он и был настоящий гном.
И смерть устала стучать в окно
и задремала, присев под окном.

* * *

Когда октября на исходе
нисходит внезапный покой,
и солнце из тучи выходит,
и тучу отводит рукой,

листвы жестяные обрезки
под солнцем как будто живей,
и резко, немисливо резко,
прорезан рисунок ветвей.

Распаханы нивы и пахнут,
и запах листвы загустел,
и лес облетевший распахнут,
хотя и не весь облетел.

И что-то такое исходит
от скупы согретых стволов.
И что-то в тебе происходит,
чему не находится слов.



Любовь Артюгина

* * *

А. Г.

Застыли зачарованно дома,
Уставшие от суетного лета:
Я думала, что смерть — глухая тьма,
А здесь так много музыки и света.

Такой же перекрёсток и фонтан,
И дети по утрам уходят в школу,
А я всё жду, когда приедешь к нам,
И мы пойдём к скамейке за посёлок

Вдвоём глядеть на спящие леса,
Пока светлы задумчивые тени
Ещё живых, и смотрят нам в глаза
Пустынными очами привидений,

Вдыхая серебристый мягкий свист
Полупустой осенней электрички
И тёплый снег, летящий сверху вниз
От радости, а, может — по привычке.

* * *

Начинается дождь, а потом начинается осень.
Ты сегодня бледна. Настроение плакать и спать.
Сон уткнётся в ладонь влажным носом с покорностью пёсией
И свернётся в ногах, еслипустишь его на кровать.

Золотистая даль в тишину выдыхает туманы,
И как будто повис в невесомости всякий предмет.
Ты, конечно, права: Бог творит чудеса на *piano*¹
И обычную грусть превращает в задумчивый свет.

Это с клавиш дождя на листву осыпаются капли,
И звенящая дрожь пробегает над сном мотылька.
И летит, и летит сквозь столетия осенний кораблик —
Слышишь: звёзды поют и качают его на руках.

* * *

Когда ветрам и ливням надоем,
Спрошу тепло, идущее на убыль:
— Я всё простила, так скажи, зачем
Дрожат мои обветренные губы?

Бывают встречи с привкусом разлук,
И после них растерянно и странно,
Что в тишине, роняющей листву,
Не тает след истории туманной,

Когда недопонять, недосогреть,
Недомолчать, вздох слова глотая,
И — падаешь в дожди, теряя твердь,
А вслед кружит испутанная стая.

* * *

Горят фонари, и не слышно,
Как сумрак пробрался в квартал,
Бродил по темнеющим крышам,
Неспящие окна считал.

¹ *Piano* — итальянский музыкальный термин, означающий «тихо», а также название одной из педалей фортепиано. Выражение «играть на *piano*» означает «играть (исполнять) тихо».

Холодные влажные листья
Сложил ночевать на скамьи
И спрятал дрожащие выси
В землистые лапы свои;

Как будто один виноватый,
Что — поздняя осень и мзга,
И звёздные координаты,
Спеша, проскочили снега;

Что он — повторение дыма,
Он — между, он — через и сквозь —
Как свет, проплывающий мимо,
Чьё сердце о тьму обожглось.

Песочный человечек

Из века в век, из года в год
Сквозь тихий поздний вечер
По тёмным улицам идёт
Песочный человечек.

Его глаза знакомы тьме —
Бледнеют лунным светом.
Он там, он здесь в твоём уме,
И в каждом слове этом.

Бросает колдовской песок
На зеркала, на лица,
И снег ложится на висок,
И свет земной кривится.

И снится миру странный сон,
Где нет дверей и окон;
Где он, пустыней окружён,
Один в снегу глубоком

Под взглядами колючих звёзд
Закрыв свечу от ветра,
И шёпотом звучит вопрос,
И нет у тьмы ответа.

А позади — визгливый смех
И сгорбленные плечи...
И горсть песка бросает вверх
Песочный человечек.

Елена Раджешвари

Черновик защиты

Город, а он вышел ночью, и никого не было.

Казалось, все известные нападения должны быть уже отражены. Оставалось обыграть неизвестное, совсем немного до полной свободы выбора. Но этот саднящий душу город был тем непобедимым *ничто*, от которого только поезда и спасают. Поезда-беглецы, скрепляющие распадающийся мир стежками железных дорог. Бегство, оно профилактика, блистательная рокада ферзя, великая жертва ладьи, хитрый ход конём, сверхурочные регулировки умственного движения, отказ от жизни во имя привычного ритма. Он придёт, принесёт ещё один день, сядет и будет думать. Ничто его не остановит. Ключевые слова: всюду здесь, всегда сейчас, враждебная вялотекущая периферия, где сама действительность равносильна поражению.

А жизнь что? Сегодня как всегда. Даст бог, даст один день, а потом уволит. В бессонницу. Даст второй шанс во второй половине дня. И ещё один, и ещё, и... Атаки возвращаются на круги своя. Нападение всегда непредвиденно. Тысячи, тысячи ударов! Их нужно распознать, отразить, сжать в краткую формулу победы. А пока лишь ничья в единоборстве с местом и временем. Хотел он сказать и сказал бы, но на звонок опять бы не ответили. Бежать, бежать на вокзал с сертификатом аварийного хода в кармане. А там хоть сядь, пиши, хоть уймись или выйди вон, в тамбур.

Среда, что ли, какая-то, закат. Хотел он записать на бланке заявления к участию в турнире. Он бы и написал, но не знал адреса, только телефон. Он бы и позвонил, но пока собирался набрать номер, от заката ничего не осталось. Ночь текла по улицам, ползла по груди, несла яд бессонницы на подносе со стаканом чая. Он выпил яд и поставил стакан на письменный стол перед безответной панорамой города. Больше о нём ничего не известно. Господи, да принеси же ты ему ещё один стакан

чистой воды, ещё один чистый день, ещё какой-нибудь город! Там что, за дверью никого нет?!

Опять ты неправильно начинаешь его историю, словно её и вовсе не было. Она выскальзывает из рук, она сделана из пустоты. Он даже и от пустоты придумал защиту. Но черновик ведь всё выдержит. Пока сюжет не разработан, всё — правда, а в правде почти всегда ничего нет. Точно известно одно — он стоял у окна и видел: по улицам растекается чёрный яд, над городом полыхает дикая ночь, его поезд отходит, из затяжного лихорадочного хаоса направляясь в неосвязаемость вакуума. Если бы ночи не удалось застичь его врасплох, он бы снял трубку и набрал номер.

Его звонки попадали на отсутствующих. Город, куда он звонил, был не жилой. Долгие позывные из телефонной трубки делили его сознание на равные дольки: то трубный глас, то пустота. Музыка небесных сфер. Он слушал её, меряя шагами комнату в пансионе. Что было дальше, он сам не знает. На полях недоигранной партии записи обрываются: *цена несправедлива у меня и так много побед приложение недоступно*

Город непостоянен в своих чувствах и гонит своих обитателей в другие. А что-то всегда опережает поезд, отшибая ветки встречным деревьям. Составы полны беженцев. Ночные бабочки прикорнули к плацкарту, укрывают мятыми крылышками сон детей от посторонней бессонницы. Пол усыпан пылью их транзитной жизни. Они открывают глаза, когда проходишь мимо. Глаза их видят, кто ты.

Беженец из города в город, из одной бессонницы в другую, из вагона в вагон. В тамбурах дешёвых междугородних поездов можно покурить. Недолго осталось, и он станет беженцем первого класса с молниеносной доставкой в любую точку непознаваемого. Но сколько же впереди ещё Вен, Гааг, Риг, скольких нужно убедить, что защита его безупречна. Иногда нужно пройти весь состав, чтобы отыскать тот тамбур, где курение на время избавит от поисков. Там толпятся сомнамбулы, дают прикурить и бегло осматривают пальцы рук на предмет обручального кольца. Всё как надо, не беспокойтесь. Только спички, пожалуйста. С остальным сами разберемся.

Всякому любопытно, куда ты да откуда. Но понять дано не всякому. А он знал, насколько щекотлив этот вопрос, интимен. У него тоже не было истинных «оттуда и туда». С точки зрения пространства, они были: пара крупных столиц, кучка мелких и целый перечень провинциальных. Но ведь речь не о банальном перемещении, правда же, а о рывке, о взлёте, о парении над шахматной доской, где никому не дано угадать следующий ход. И каждая победа приближает к оплаченным поездкам и проживаниям совместно с избранницей его одиночества. А пока он один. Готовится к окончательной победе над всеми бегствами. Просит написать ему телефонный номер на спичечном коробке.

Может, и есть где-то город, где улягутся все метания. На какой-нибудь ночной пересадке взгляд нырнёт в темноту и потонет в ней. А потом варут вынырнет оттуда со слитком золота. Мы узнаем этот город, как утонувшие мореходы узнают во сне свой порт. Город, в котором бессоннице отведено почётное место в пантеоне. Я возьму тебя в этот город, обещал он тогда в тамбуре, гася сигарету за сигаретой и закуривая новую. Осталось выиграть ещё пару турниров, и мы будем там. Будем.

Вера его настолько сильна, что язык не поворачивается сказать. В моменты неотвратимых крушений память замедленным темпом прокручивает детали и предупреждает о случившемся. Там он говорит, говорит, уставясь в выжженные окурками названия столиц на карте Европы, привинченной к замызанной стене тамбура. По вере твоей воздастся тебе, странник. Близится твоя пересадка. Вечный шах. То ли Нант, то ли Нанси, единственное, что не отсеял грохот колёс и не вытрясло кидание вагона из стороны в сторону. А город, который нужен, ещё не построен.

Но он звонил и звонил с упорством беженца, ищущего любую лазейку в колючей проволоке. И каждый раз его отбрасывало на исходную позицию, никто не слышал его звонков. Он стал маэстро. Был победителем. Много раз. И ещё и ещё. Долгие годы. Долгие гудки. Он ждал, слушал музыку сфер. Пару раз даже дозванивался. Приходилось вспоминать, кто он и откуда. Ах да, шахматный король из тамбура, обещавший город без вокзалов, поезд без прибытия, оплаченный проезд в никуда, бесплатное пребывание в очередной бессоннице.

Он не знал, каким будет этот город. Его награда подразумевала всё безвозмездное счастье мира. Осталась пара турниров, и мы будем вместе, хотел сказать он телефонным гудкам, но побоялся перебить их настойчивую убедительность. И последний — Варна, сущая ерунда. Так и повисло в эфире: Варна, последний рывок из ночной петли.

Но тут подняли трубку и сообщили, что абонент выбыл. Абонент — беженец. Ищите его в тамбурах, ищите его закуривающим от протянутой сигареты попутчика. Он направляется в Бари и прибывает в Харьков. Кажется, ему не хватает места на земле. Прибежище его — собственное дрожащее отражение в окне поезда. По умолчанию черновика. Однажды ночью он тоже погрузится во тьму и задохнётся.

Выйдем напоследок в тамбур. Это ещё не наша остановка. Ты выиграл в конечном итоге. Не волнуйся. Не звони. Ну, звони, раз уж так надо, но не так часто хотя бы. Всё равно столицу бессонницы не локализовать. Подсказки тут не помогут. Нет, конечно, не Базель. И даже не Барселона. И уж тем более не Берлин. Что это была бы за награда? 

Зинаида Стамблер

Небо Африки

— *Сегодня всё будет по-другому.*

— *Правда?*

— *Правда. Только надо немножко потрудиться.*

Что такое слова... «Сегодня»? Но сегодня — как и вчера, позавчера, третьего дня, четвёртого, пятого, двадцать пятого... И всё — по-прежнему, всё — как всегда. И если это значит «по-другому», то... «Правда»? Мы знаем её привычную цену. Как часто правдой называют «ложь во спасение». Но спасти ложью по-настоящему ещё никому никого не удалось. Но и правдой, правда, тоже. И вообще — я до этого додумалась совсем недавно — спасти можно только того, кто уже сам спасся. Ну, ощутил внутри себя спасение. Как состояние, как данность. А что там будет после этого — что именно произойдёт, кто именно появится, чтобы вытащить из горящей избы, из-под обломков землетрясения, с тонущего корабля или с того света — уже не столь и важно. Главное, спасён в сердце своём. Потому что без этого внутреннего спасения, внешнее спасение часто оказывается бессмысленно. Так было со многими, кого я знаю лично. Так будет и со мной.

Почти три месяца я учусь ходить. Каждый день начинаю свой путь сначала из тупиковых снов в непробудную реальность, потом с кровати до уровня пола — и медленно-медленно от двери к двери. И когда ты возвращаешься с работы, кормишь нас с Бондом, помогаешь мне привести себя в порядок и одеться, мы выбираемся на улицу. По будням — как можно позднее, чтобы уже в полной темноте, а в выходные — пораньше, ещё затемно.

Мой путь продолжается от порога до ближайшей скамейки, потом от ближайшей скамейки до той, на которой набита железная табличка, потом от неё до следующей — и так дальше и дальше... до первого дерева, к которому я прижимаюсь всем существом, потому что больше совсем не могу идти.

Я очень стесняюсь своей «летающей» походки. При малейшем движении руки и ноги разлетаются в разные стороны, а тело раскачивается взад и вперёд. Зрелище — не для слабонервных. Так в ужастиках ходят зомби и всякие «восставшие из ада». Наверное, если бы мне могла помочь палка или костыли, я бы от них не отказалась, но мне ничего не может помочь — даже твои руки, потому что мне приходится всё время балансировать и необходима полная свобода манёвра.

Ты говоришь, что скоро мы обязательно дойдём до маяка. Когда-то втроем мы часто загуливали туда: ты, я и Бондя. Но пока я это воспринимаю так, как если бы ты сказал, что мы достигнем Африки.

Расположившись на скамейке, я откидываю голову назад, насколько позволяет шея — и устремляюсь вдаль из-под замерших век. Как давно я не знала ярких небес. После заката — разве ж это небо! Но и в нём мне лучше, чем на скамейке. Потому что вместе со мной в эту уже не одухотворенную Солнцем высь взлетают так поразившие когда-то на одной фотографии образы. В золотую колесницу, которой правит пара малиновых сфинксов, запряжён слоёный фиолетовый дракон, пожирающий солнечное пламя. Запавшая в душу картинка при каждом воспоминании оживает во мне с новой силой. И едва наступает ночь, всё это великолепие снова и снова проносится мимо распускающихся звёзд по нескончаемой оранжевой дороге в облачной пыли — и долго тлеет за горизонтом...

Я могу бесконечно полоскать свою душу в этих придуманных небесах. Но ты не даёшь и пятнадцати минут. Да и Бондя нетерпеливо носится вокруг, уши и хвост развеваются рыжими флажками, он поминутно закидывает мне на колени передние лапы, подтягиваясь, чтобы щедро обхлопать языком лицо: «Нуже, поднимайся, мы сегодня непременно дойдём до Африки!»

Продолжаем...

Ну, вот мы и дома. Несмотря на то, что мне пришлось очень даже множко потрудиться, сегодня оказалось таким же, как вчера. Даже похуже. Потому что мы встретили знакомых, которые возвращались из гостей и остановились с нами поболтать. Они, конечно же, заметили мою походку «восставшей из ада» — и

кинулись с расспросами. Мне больше всего на свете хотелось послать их куда подальше, пусть бы думали, что я напилась до полного свинства. Но я ещё учусь заново и говорить. Мне трудно произносить даже простые слова — я пока тренируюсь только на вас с Бондом.

Ты крепко держал меня, обхватив вперекрёст, а я молчала и плакала, глядя, как дружелюбное удивление наших знакомых сменяется тревожным, сочувственным, соболезнующим... Как они что-то бормочут на прощание, гладят меня по плечу и быстро удаляются. Я не слышала, что ты им сказал, не слышала их ответов тебе — видно, мне нужно научиться не только ходить, говорить, но ещё и слышать других. И желанино жить. Срочно. Может, даже скорее, чем всему остальному. Пока я ещё могу каждое утро отпрашиваться в путь.

Но что бы я ни думала о сегодняшнем дне, в нём всё-таки есть что-то особенное. Или было — потому что уже очень поздно и, в общем-то, настал новый день. Но ты не спишь. Когда бы мы ни ложились, ты теперь всегда ждёшь меня, чтобы опустить мне ладони на голову и убаюкать своей молитвой. Ты просишь Бога с такой силой, что постепенно руки излучают не только тепло и нежность. Сквозь закрытые глаза я чувствую, как серебряный свет струится с твоих пальцев и заливает всё вокруг. «Серебро Господа моего...» — может, именно об этом пел Гребенщиков...

Я верю. Верю в чудо. И в Божью милость. Но в то, что Божья любовь человеческими руками сотворит чудо именно со мной, мне поверить сложно. Потому что я — слабая, очень слабая. И дурная. Потому что кроме тебя никто не дорожил мной по-настоящему. Бондя — не в счёт, он — ирландский сеттер, его мои слабости-глупости никогда не касались, его касалась только моя преданность и ласка, ещё как касалась. И я не сомневаюсь, что два сердца — его, собачье, и твоё, человеческое — в этом мире так неразрывно спаяны с моим, что...

Если бы чудо запросто происходило со всеми! Не было бы ни болезней, ни смертей, ни войн, ни насилия, ни всякого зла. Все на свете были бы счастливы и неуязвимы. Но ведь так не бывает. А как бывает — знают все.

Я засыпаю в серебре.

И снова наступает сегодня. Мы с Бондом — одни. Ты уже, как обычно, погулял с ним перед работой, поэтому он так умиротворен и безо всякой корысти не спускает с меня своих похожих на блестящие каштаны глаз. Обнюхал = поздоровался, облизал = поцеловал, теперь тычет носом и бодает, мол, давай, давай же — в путь...

Врачи говорят, неизлечимо. Но, принимая лекарства, контролируя симптомы, можно протянуть довольно долго. Прогнозировать стабильность или ухудшения нельзя. А главное, нельзя знать заранее, когда тело окончательно перестанет слушаться духа, а разум ослабеет настолько, что дух сам перестанет иметь со всем этим что-либо общее.

Когда я впервые услышала диагноз, в меня вгрызлась первобытная тоска. Это уже на её тучном фоне плавыли, сменяя друг друга, всевозможные чувства и бесчувствия. Надо же, а ведь всё было хорошо — и тут... Хотя периодически включались мозги и сердце: «Кто ты такая, что с тобой не должно было ничего такого произойти? Чем ты лучше остальных? Тем, что тебя любит один ненормальный программист и один не менее сдвинутый, рвущийся догулять до самой Африки старый ирландский сеттер?»

Ты как-то сразу понял, ещё забирая меня из больницы после непрерывных капельниц, уколов и таблеток, что с лечением я не то, что «довольно долго», я нисколько не протяну. И дело не в том, что я практически разучилась двигаться и говорить, не в том, что меня одолела апатия и непроходящая муть. И не в том, что ты заметил, как я тайком прячу на совсем уж чёрный день упаковки со снотворным — ты просто понял, что мне, неизлечимой, от лечения становится хуже. Понял — и решил спасти. Спасись.

Едва я села и опустила ноги на пол, сразу опалило — сегодня именно то самое сегодня, когда всё действительно будет по-другому. Шаги — по-прежнему неверные, но я впервые за столько времени не сразу разлетелась на части и впервые вышла в коридор, не так безнадежно обнимая стены, не так беспомощно

повисая на дверях. Бондина восхищенная морда была даже красноречивее моей, отражённой в большом зеркале. Правда, намерения самой принять душ мой страж категорически не одобрил. Он рычал и оттягивал меня за полы халата до тех пор, пока я не отказалась от своей, прямо скажем, рискованной затеи.

— Ну, хорошо, Бондя, я не буду сама мыться, — успокоила я его. И тут же прижала пальцы к губам... — Бонд, слышишь?! Я не буду мыться сама!!

«Да слышу я. Что раскричалась? — он склонил умную голову набок и постучал лапой по моей протянутой руке. — Ты не будешь мыться одна.»

И, словно тоже осознав — вдруг взвизгнул, подскочил, залаял, забил хвостом: «А ну, ещё раз! Повтори, повтори!»

— Ну, нет. Я лучше что-нибудь другое скажу... потом.

Ты пришёл домой — не забыв улыбку уверенности, хотя в сердце всего-навсего дрожала надежда. Не мечтая увидеть меня сразу у двери, ты просто протянул ко мне руки. Но Бонд, опытный встречальщик, как всегда, опередил и завладел тобой. Он пытался побыстрее рассказать о том, что мы пережили с ним сегодня. А я ждала своей минуты.

Сегодня мы никуда не пошли. И я, наконец, говорила, говорила, говорила. А ты слушал.

Мы встали пораньше, позавтракали и отправились на улицу. Я крепко держала тебя за руку, но не пропускала ни одну знакомую скамейку. Бонд гордо вышагивал впереди.

А через три недели мы всё-таки дошли до Африки! И даже поднялись по винтовой лестнице на старый маяк. Так было ближе к небу. Всё вокруг наливалось светом, а в вышине мчалась навстречу рассвету перламутровая колесница с парой розовых сфинксов, запряжённая солнцедышащим оранжевым драконом. 

Вольфганг Борхерт

Переводы Натальи Пастуховой

Ради

Сегодня ночью ко мне пришёл Ради. Он был со светлыми волосами, как всегда, и с улыбкой на широком, мягко очерченном лице. И взгляд был тоже, как всегда: немного испуганный и неуверенный. И пара светлых волосков на бороде тоже была на месте.

Всё как всегда.

Ты же умер, Ради, сказал я.

Да, сказал он, пожалуйста, не смейся.

Почему я должен смеяться?

Вы всегда надо мной смеялись, я же знаю. Потому что я смешно косолапил и по дороге в школу всегда болтал о всяких девчонках, которых я вообще не знал. Над этим вы всегда и смеялись. И потому что я всегда немного трусил, я же точно знаю.

Ты уже давно умер? — спросил я.

Нет, совсем нет, сказал он. Но меня убили зимой. У них не получилось вырыть мне могилу. Всё же смёрзлось. Как камень.

Ах да, ты ведь погиб в России, так?

Да, в первую же зиму. Знаешь, не смейся, но это неприятно быть мёртвым в России. Там всё такое чужое. Деревья такие чужие. Так тоскливо, знаешь. В основном, ольха. Там, где я лежу, одна тоскливая ольха. А ещё камни иногда тяжело вздыхают. Наверное, потому что это русские камни. И леса кричат по ночам. Наверное, потому что это русские леса. И снег кричит. Потому что это русский снег. Да, всё для меня чужое. Всё такое чужое.

Ради сел на край моей кровати и замолчал.

Может, ты всё так ненавидишь, потому что тебе там пришлось умереть, сказал я.

Он посмотрел на меня: думаешь? Ах, нет, знаешь, всё такое жутко чужое. Всё. Он опустил глаза. Всё такое для меня чужое. Даже я сам.

Ты сам?

Да, пожалуйста, не смейся. Это именно так. Я даже сам себе кажусь жутко чужим. Пожалуйста, не смейся, знаешь, поэтому сегодня ночью я пришёл к тебе. Я хотел обсудить это с тобой.

Со мной?

Да, пожалуйста, не смейся, именно с тобой. Ты ведь меня хорошо знаешь, так ведь?

Я всегда так думал.

Неважно. Ты знаешь меня очень хорошо. Как я выгляжу, я имею в виду. Не какой я. Я имею в виду, как я выгляжу, ты же ведь меня знаешь, ведь так?

Да, ты блондин. У тебя полное лицо.

Нет, говори прямо, у меня нежное лицо. Я ведь это знаю.

Итак...

Да, у тебя нежное лицо, всегда смеющееся и широкое.

Да, да. А мои глаза?

У тебя глаза были всегда немного... немного грустные и необычные.

Тебе не надо врать. У меня был очень напуганный и неуверенный взгляд, потому что я никогда не знал, поверят ли всему тому, что я рассказываю о девчонках. А ещё? У меня была гладкая кожа?

Нет. У тебя всегда торчала пара светлых волосков на подбородке. Ты думал, их никто не заметит. Но мы всегда замечали.

И смеялись.

И смеялись.

Ряди сидел на краешке моей кровати и тёр ладонями коленку. Да, прошептал он, таким я был. Именно таким.

И тут он внезапно посмотрел на меня своими испуганными глазами. Сделаешь мне одолжение, правда? Только пожалуйста, не смейся. Пошли со мной.

В Россию?

Да, это быстро. Моргнуть не успеешь. Потому что ты меня всё ещё так хорошо помнишь, пожалуйста.

Он взял меня за руку. Он был на ощупь как снег. Прохладный. Рыхлый. Невесомый. Мы оказались между двух осинок. Там что-то белело. Пойдём, сказал Ради, это я там лежу.

Там лежал человеческий скелет, я такой видел в школе. Рядом кусок буро-зелёного металла.

Это моя каска, сказал Ради, заржавела и покрылась мхом.

А потом он показал на скелет. Не смейся, пожалуйста, но это я. Ты можешь это понять? Ты ведь меня знаешь. Скажи сам, может такое быть, что это я? Как ты думаешь? Тебе он не кажется ужасно незнакомым? Ведь ничего схожего со мной. Меня совсем уже не узнать. Но ведь это я. Это должен быть я. Я не могу этого понять. Он такой ужасно чужой. На того, каким я был раньше, вообще не похож. Нет, пожалуйста, не смейся, но для меня это всё настолько чужое, настолько непонятное, так непохоже на меня.

Он сел на тёмную землю и печально посмотрел перед собой.

С прошлым вообще ничего схожего не осталось, сказал он. Ничего, совсем ничего.

Он взял кончиками пальцев горстку тёмной земли и понюхал. Чужое, прошептал он, совсем чужое. Он протянул мне землю. Она была как снег. Как его рука, которой он меня перед этим коснулся. Прохладная. Рыхлая. Невесомая.

Понюхай, сказал.

Я понюхал.

Ну?

Земля, сказал я.

И?

Чуть кислая. Чуть горькая. Обычная земля.

Но ведь чужая? Совсем чужая? И такая отвратительная, так ведь?

Я глубоко вдохнул запах земли. Вдыхалась она прохладно, рыхло и легко. Немного кислая. Немного горькая.

Она пахнет хорошо, сказал я. Как земля.

Не отвратительно? Не чуждо?

Ради посмотрел на меня испугано. Она ведь так отвратительно пахнет, разве нет?

Я понюхал.

Нет, так пахнет любая земля.

Ты думаешь?

Уверен.

И она не кажется тебе отвратительной?

Нет, она точно пахнет хорошо, Ради. Понюхай ещё раз.

Он взял немножко кончиками пальцев и понюхал.

Любая земля так пахнет? — спросил он.

Да, любая.

Он втянул запах. Уткнулся носом глубоко в ладонь с землёй и втянул запах. Потом посмотрел на меня. Ты прав, сказал он. Наверное, она всё-таки довольно хорошо пахнет. Но всё же так незнакомо, когда я думаю, что это я, жутко незнакомо, знаешь.

Ради сидел и нюхал. Забыв про меня, он нюхал, и нюхал, и нюхал. Тогда я тихонько, на цыпочках вернулся домой.

Это было в полшестого утра. На дворе перед домом сквозь снег проглядывала земля. Она была прохладной. И рыхлой. И лёгкой. И она пахла. Я стоял там и глубоко вдыхал запах. Да, она пахла.

Она хорошо пахнет, Ради, прошептал я. Она пахнет действительно хорошо. Так, как должна пахнуть земля. Можешь быть спокоен.

Дрова на завтра

Он закрыл за собой дверь на лестничную клетку. Закрыл тихо, стараясь не привлекать внимания, хотя собирался покончить с жизнью. С той самой жизнью, которую он не понял и в которой не поняли его те, кого он любил. Именно этого он не мог вынести: отчуждённого сосуществования с теми, кого любил. Но было и другое, что разрослось и заполонило собой всё то, о чём он постоянно думал.

О том, что те, кого он любит, не слышат его, плача по ночам. И видит, как постарела любимая им мать. О том, что он это видит. И может сидеть с остальными в комнате, смеяться вместе с ними и оставаться при этом таким одиноким, как никогда. Что

он слышал, как стреляют, а другие не слышали. И не хотели этого никогда слышать. Отчуждённое сосуществование с близкими людьми, которое невозможно вынести.

Теперь он стоял на лестничной клетке и хотел подняться на чердак, чтобы наложить на себя руки. Он всю ночь размышлял, как это сделать, и пришёл к выводу, что в первую очередь должен пойти на чердак. Там он будет один, и это необходимое условие для всего остального. Застрелиться нечем, а отравление слишком ненадёжно. Нет ничего постыднее, чем потом быть возвращённым к жизни врачом и выносить полные упрёка и сострадания лица тех, которые так его любят и за него переживают. Утопиться — слишком патетично, а выброситься из окна — слишком напоказ. Нет, лучше всего пойти на чердак. Там никого. Там тихо. Там будет незаметно. И помимо прочего, там поперечные балки перекрытий и корзина для белья с верёвкой.

Тихо закрыв за собой дверь на лестничную клетку, он без промедления взялся за перила и стал неторопливо подниматься. Сквозь конусообразную стеклянную крышу над лестницей, натянутую тонкой проволокой, будто паутиной, просачивалось бледное небо, которое здесь, наверху, под крышей, казалось совсем бесцветным. Он крепко обхватил чистые, светло-коричневые перила и тихонько, стараясь не привлечь внимания, пошёл наверх. Вдруг он увидел на перилах широкую белую царапину, может, чуть желтоватую. Остановившись, провёл по ней пальцем, ещё раз и ещё. Потом посмотрел назад. Белая царапина шла по всему перилу. Чуть наклонился вперёд. Да, она была различима вплоть до самых нижних, тёмных этажей. Там она становилась всё коричневее, но всё равно оставалась на целый оттенок светлее, чем дерево перил. Пройдясь пару раз пальцем вдоль белой царапины, он внезапно произнёс: я же совсем забыл об этом. Сел на ступеньку. Я хотел сейчас лишиться себя жизни, а об этом почти забыл. Это же я тогда сделал. Маленьким напильником Карлхайнца. Я зажал его в кулаке и понёсся вниз по лестнице, глубоко воткнув напильник в мягкое перило. На поворотах я давил особенно сильно, чтобы затормозить. Когда спустился, по всему перилу от чердака до первого этажа шла

довольно глубокая борозда. Это сделал я. Вечером допросили всех детей: обеих девочек под нами, Карлхайнца и меня. И того, рядом. Хозяйка дома сказала, ущерб минимум на сорок марок. Но наши родители сразу поняли, что это не мог быть кто-то из нас. Для этого требовался очень острый предмет, а такого у нас не было, они точно знали. Мало того, ни один ребёнок не испортил бы перила в собственном доме. И всё же это сделал я. Маленьким острым напильником. Так как ни одна из семей не хотела отдавать сорок марок на ремонт, хозяйка дома всем вписала в счёт за квартиру на пять марок больше за порчу перил. На эти деньги всю лестницу сразу застелили линолеумом, и фрау Даус оплатили новую варёжку вместо той, которую она порвала о расщеплённое перило. Пришёл плотник, гладко зашлифовал края бороздки и замазал клеем — от чердака до нижнего этажа. Ведь это сделал я. А сейчас хотел проститься с жизнью и почти забыл об этом.

Он сел на ступеньку и вынул листок. Написал: перила испортил я. Затем сверху надписал: для фрау Кауфманн, хозяйки дома. Он выгреб все деньги из карманов, получилось двадцать две марки, и, завернув их в листок, засунул в маленький нагрудный карман. Там точно найдут, подумал он, там должны найти. И ведь он совсем забыл, что мало кто теперь об этом вспомнит. Забыл, что прошло уже одиннадцать лет. Встал, ступенька немного скрипнула. Теперь можно идти на чердак.

Покончив с историей с перилами, можно подняться наверх. Там нужно ещё раз себе сказать, что больше нет сил жить в таком отчуждении с теми, кого он любит, и затем совершить задуманное.

Внизу открылась дверь. Он услышал, как его мать говорит: И еще скажи ей, чтобы не забыла стиральный порошок. Чтобы она ни в коем случае не забыла стиральный порошок. Скажи ей, что мальчик специально пошёл с тележкой, чтобы принести дрова, чтобы мы завтра смогли постирать. Скажи ей: для отца большое облегчение, что ему теперь не придётся ходить с тележкой за дровами, потому что мальчик вернулся. Мальчик сегодня специально пошёл. Отец говорит, что ему это понравится. Мальчик столько лет не мог этого делать. А теперь

будет ходить за дровами. Для нас. Для завтрашней стирки. Скажи ей, что он специально ушёл с тележкой за дровами и чтобы она не забыла для меня порошок.

Он услышал, как девочка ответила. Потом дверь закрылась, и девочка сбегала вниз по ступенькам. Было слышно, как её маленькая ладошка скользила по перилам до самого низа. Потом был слышен только топот её ног. Потом наступила тишина. Звонящая тишина.

Он медленно пошёл вниз по лестнице, ступень за ступенью. Конечно же, я должен принести дрова, совсем забыл об этом. Я должен принести дрова.

Он всё быстрее спускался по лестнице, отрывисто постукивая ладонью по перилам. Дрова, произнёс он. Я же должен принести дрова. Для нас. На завтра. И большими скачками перепрыгнул последние ступеньки. На самом верху сквозь толстое стекло крыши просачивалось бледное небо. Но внизу должны гореть лампы. Изю дня в день.

Всегда.

Wolfgang Borchert

Radi

Heute nacht war Radi bei mir. Er war blond wie immer und lachte in seinem weichen breiten Gesicht. Auch seine Augen waren wie immer: etwas ängstlich und etwas unsicher. Auch die paar blonden Bartspitzen hatte er.

Alles wie immer.

Du bist doch tot, Radi, sagte ich.

Ja, antwortete er, lach bitte nicht.

Warum soll ich lachen?

Ihr habt immer gelacht über mich, das weiß ich doch. Weil ich meine Füße so komisch setzte und auf dem Schulweg immer von allerlei Mädchen redete, die ich gar nicht kannte. Darüber habt ihr doch immer gelacht. Und weil ich immer etwas ängstlich war, das weiß ich ganz genau.

Bist du schon lange tot? fragte ich.

Nein, gar nicht, sagte er. Aber ich bin im Winter gefallen. Sie konnten mich nicht richtig in die Erde kriegen. War doch alles gefroren. Alles steinhart.

Ach ja, du bist ja in Russland gefallen, nicht?

Ja, gleich im ersten Winter. Du, lach nicht, aber es ist nicht schön, in Russland tot zu sein. Mir ist das alles so fremd. Die Bäume sind so fremd. So traurig, weißt du. Meistens sind es Erlen. Wo ich liege, stehen lauter traurige Erlen. Und die Steine stöhnen auch manchmal. Weil sie russische Steine sein müssen. Und die Wälder schreien nachts. Weil sie russische Wälder sein müssen. Und der Schnee schreit. Weil er russischer Schnee sein muss. Ja, alles ist fremd. Alles so fremd.

Radi saß auf meiner Bettkante und schwieg.

Vielleicht hasst du alles nur so, weil du da tot sein musst, sagte ich. Er sah mich an: Meinst du? Ach nein, du, es ist alles so furchtbar fremd. Alles. Er sah auf seine Knie. Alles ist so fremd. Auch man selbst.

Man selbst?

Ja, lach bitte nicht. Das ist es nämlich. Gerade man selbst ist sich so furchtbar fremd. Lach bitte nicht, du, deswegen bin ich heute nacht mal zu dir gekommen. Ich wollte das mal mit dir besprechen.

Mit mir?

Ja, lach bitte nicht, gerade mit dir. Du kennst mich doch genau, nicht?

Ich dachte es immer.

Macht nichts. Du kennst mich ganz genau. Wie ich aussehe, meine ich. Nicht wie ich bin. Ich meine, wie ich aussehe, kennst du mich doch, nicht?

Ja, du bist blond. Du hast ein volles Gesicht.

Nein, sag ruhig, ich habe ein weiches Gesicht. Ich weiß das doch. Also.

Ja, du hast ein weiches Gesicht, das lacht immer und ist breit.

Ja, ja. Und meine Augen?

Deine Augen waren immer etwas — etwas traurig und seltsam.

Du musst nicht lügen. Ich habe sehr ängstliche und unsichere

Augen gehabt, weil ich nie wusste, ob ihr mir das alles glauben würdet, was ich von den Mädchen erzählte. Und dann? War ich immer glatt im Gesicht?

Nein, das warst du nicht. Du hattest immer ein paar blonde Bartspitzen am Kinn. Du dachtest, man würde sie nicht sehen. Aber wir haben sie immer gesehen.

Und gelacht.

Und gelacht.

Radi saß auf meiner Bettkante und rieb seine Handflächen an seinem Knie. Ja, flüsterte er, so war ich. Ganz genauso.

Und dann sah er mich plötzlich mit seinen ängstlichen Augen an. Tust du mir einen Gefallen, ja? Aber lach bitte nicht, bitte.

Komm mit.

Nach Russland?

Ja, es geht ganz schnell. Nur für einen Augenblick. Weil du mich noch so gut kennst, bitte.

Er griff nach meiner Hand. Er fühlte sich an wie Schnee. Ganz kühl. Ganz lose. Ganz leicht.

Wir standen zwischen ein paar Erlen. Da lag etwas Helles. Komm, sagte Radi, da liege ich. Ich sah ein menschliches Skelett, wie ich es von der Schule her kannte. Ein Stück braungrünes Metall lag daneben. Das ist mein Stahlhelm, sagte Radi, er ist ganz verrostet und voll Moos.

Und dann zeigte er auf das Skelett. Lach bitte nicht, sagte er, aber das bin ich. Kannst du das verstehen? Du kennst mich doch. Sag doch selbst, kann ich das hier sein? Meinst du? Findest du das nicht furchtbar fremd? Es ist doch nichts Bekanntes an mir. Man kennt mich doch gar nicht mehr. Aber ich bin es. Ich muss es ja sein. Aber ich kann es nicht verstehen. Es ist so furchtbar fremd. Mit all dem, was ich früher war, hat das nichts mehr zu tun. Nein, lach bitte nicht, aber mir ist das alles so furchtbar fremd, so unverständlich, so weit ab.

Er setzte sich auf den dunklen Boden und sah traurig vor sich hin.

Mit früher hat das nichts mehr zu tun, sagte er, nichts, gar nichts.

Dann hob er mit den Fingerspitzen etwas von der dunklen Erde hoch und roch daran. Fremd, flüsterte er, ganz fremd. Er hielt

mir die Erde hin. Sie war wie Schnee. Wie seine Hand war sie, mit der er vorhin nach mir gefasst hatte: Ganz kühl. Ganz lose. Ganz leicht.

Riech, sagte er.

Ich atmete tief ein.

Na?

Erde, sagte ich.

Und?

Etwas sauer. Etwas bitter. Richtige Erde.

Aber doch fremd? Ganz fremd? Und doch so widerlich, nicht?

Ich atmete tief an der Erde. Sie roch kühl, lose und leicht.

Etwas sauer. Etwas bitter.

Sie riecht gut, sagte ich. Wie Erde.

Nicht widerlich? Nicht fremd?

Radi sah mich mit ängstlichen Augen an. Sie riecht doch so widerlich, du.

Ich roch.

Nein, so riecht alle Erde.

Meinst du?

Bestimmt.

Und du findest sie nicht widerlich?

Nein, sie riecht ausgesprochen gut, Radi. Riech doch mal genau.

Er nahm ein wenig zwischen die Fingerspitzen und roch.

Alle Erde riecht so? fragte er.

Ja, alle.

Er atmete tief. Er steckte seine Nase ganz in die Hand mit der Erde hinein und atmete. Dann sah er mich an. Du hast recht, sagte er. Es riecht vielleicht doch ganz gut. Aber doch fremd, wenn ich denke, dass ich das bin, aber doch furchtbar fremd, du. Radi saß und roch und er vergaß mich und er roch und roch und roch. Und er sagte das Wort fremd immer weniger. Immer leiser sagte er es. Er roch und roch und roch. Da ging ich auf Zehenspitzen nach Hause zurück. Es war morgens um halb sechs. In den Vorgärten sah überall Erde durch den Schnee. Sie war kühl. Und lose. Und leicht. Und sie roch. Ich stand auf und atmete tief. Ja, sie roch. Sie riecht gut, Radi, flüsterte ich. Sie riecht wirklich gut. Sie riecht wie richtige Erde. Du kannst ganz ruhig sein.

Das Holz für morgen

Er machte die Etagentür hinter sich zu. Er machte sie leise und ohne viel Aufhebens hinter sich zu. obgleich er sich das Leben nehmen wollte. Das Leben, das er nicht verstand und in dem er nicht verstanden wurde. Er wurde nicht von denen verstanden, die er liebte. Und gerade das hielt er nicht aus, dieses Aneinandervorbeisein mit denen, die er liebte.

Aber es war noch mehr da, das so groß wurde, daß es alles überwuchs, und das sich nicht wegschieben lassen wollte.

Das war, daß er nachts weinen konnte, ohne daß die, die er liebte, ihn hörten. Das war, daß er sah, daß seine Mutter, die er liebte, älter wurde und daß er das sah. Das war, daß er mit den anderen im Zimmer sitzen konnte, mit ihnen lachen konnte und dabei einsamer war als je. Das war, daß die anderen es nicht schießen hörten, wenn er es hörte. Daß sie das nie hören wollten. Das war dieses Aneinandervorbeisein mit denen, die er liebte, das er nicht aushielt.

Nun stand er im Treppenhaus und wollte zum Boden hinaufgehen und sich das Leben nehmen. ER hatte die ganze Nacht überlegt, wie er das machen wollte, und er war zu dem Entschluß gekommen, daß er vor allem auf den Boden hinaufgehen müsse, denn da wäre man allein und das war die Vorbedingung für alles andere. Zum Erschießen hatte er nichts und Vergiften war ihm zu unsicher. Keine Blamage wäre größer gewesen, als dann mit Hilfe eines Arztes wieder in das Leben zurückzukommen, und die vorwurfsvollen mitleidigen Gesichter der anderen, die so voll Liebe und Angst für ihn waren, ertragen zu müssen. Und sich ertränken, das fand er zu pathetisch, und sich aus dem Fenster stürzen, das fand er zu aufgeregt. Nein, das beste würde es sein, man ginge auf den Boden. Da war man allein. Da war es still. Da war alles ganz unauffällig und ohne viel Aufhebens. Und da waren vor allem die Querbalken vom Dachstuhl. Und der Wäschekorb mit der Leine.

Als er die Etagentür leise hinter sich zugezogen hatte, faßte er ohne zu zögern nach dem Treppengeländer und ging langsam nach oben. Das kegelförmige Glasdach über dem Treppenhaus, das von ganz feinem Maschendraht wie von Spinnweben durchzogen war, ließ einen blassen Himmel hindurch, der hier oben dicht unter dem Dach am hellsten war.

Fest umfaßte er das saubere hellbraune Treppengeländer und ging leise und ohne viel Aufhebens nach oben. Da entdeckte er auf dem Treppengeländer einen breiten weißen Strich, der vielleicht auch etwas gelblich sein konnte. Er blieb stehen und fühlte mit dem Finger darüber, dreimal, viermal. Dann sah er zurück. Der weiße Strich ging auf dem ganzen Geländer entlang. Er beugte sich etwas vor. Ja, man konnte ihn bis tief in die dunkleren Stockwerke nach unten verfolgen. Dort wurde er ebenfalls bräunlicher, aber er blieb doch einen ganzen Farbton heller als das Holz des Geländers. Er ließ seinen Finger ein paarmal auf dem weißen Strich entlangfahren, dann sagte er plötzlich: Das hab ich ja ganz vergessen.

Er setzte sich auf die Treppe. Und jetzt wollte ich mir das Leben nehmen und hatte das beinahe vergessen. Dabei war ich es doch. Mit der kleinen Feile, die Karlheinz gehörte. Die habe ich in die Faust genommen und dann bin ich in vollem Tempo die Treppe runtergesaut und habe dabei die Feile tief in das weiche Geländer gedrückt. In den Kurven habe ich besonders stark gedrückt, um zu bremsen. Als ich unten war, ging über das Treppengeländer vom Boden bis zum Erdgeschoß eine tiefe, tiefe Rille. Das war ich. Abends wurden alle Kinder verhört. Die beiden Mädchen unter uns, Karlheinz und ich. Und der nebenan. Die Hauswirtin sagte, das würde mindestens vierzig Mark kosten. Aber unsere Eltern wußten sofort, daß es von uns keiner gewesen war. Dazu gehörte ein ganz scharfer Gegenstand, und den hatte keiner von uns, das wußten sie genau. Außerdem verschandelte doch kein Kind das Treppengeländer in seinem eigenen Haus. Und dabei war ich es. Ich mit der kleinen spitzen Feile. Als keiner von den Familien die vierzig Mark für die Reparatur des Treppengeländers bezahlen wollte, schrieb die Hauswirtin auf die nächste Mieterrechnung je Haushalt fünf Mark mehr drauf für Instandsetzungskosten des stark demolierten Treppenhauses. Für dieses Geld wurde dann gleich das ganze Treppenhaus mit Linoleum ausgelegt. Und Frau Daus bekam ihren Handschuh ersetzt, den sie sich an dem aufgesplitterten Geländer zerrissen hatte. Ein Handwerker kam, hobelte die Ränder der Rille glatt und schmierte sie dann mit Kitt aus. Vom Boden bis zum Erdgeschoß. Und ich, ich war es. Und jetzt wollte ich mir das Leben nehmen und hatte das beinahe vergessen.

Er setzte sich auf die Treppe und nahm einen Zettel. Das mit dem Treppengeländer war ich, schrieb er da drauf. Und dann schrieb er oben darüber: An Frau Kaufmann, Hauswirtin. Er nahm das ganze Geld aus seiner Tasche, es waren zweiundzwanzig Mark, und faltete den Zettel da herum. Er steckte ihn oben in die kleine Brusttasche. Da finden sie ihn bestimmt, dachte er, da müssen sie ihn ja finden. Und er vergaß ganz, daß sich keiner mehr daran erinnern würde. Er vergaß, daß es schon elf Jahr her war, das vergaß er. Er stand auf, die Stufe knarrte ein wenig. Er wollte jetzt auf den Boden gehen.

Er hatte das mit dem Treppengeländer erledigt und konnte jetzt nach oben gehen. Da wollte er sich noch einmal lauf sagen, daß er es nicht mehr aushielte, das Aneinandervorbeisein mit denen, die er liebte, und dann wollte er es tun. Dann würde er es tun.

Unten ging eine Tür. Er hörte, wie seine Mutter sagte: Und dann sag ihr, sie soll das Seifenpulver nicht vergessen. Daß sie auf keinen Fall das Seifenpulver vergißt. Sag ihr, daß der Junge extra mit dem Wagen los ist, um das Holz zu holen, damit wir morgen waschen können. Sag ihr, das wäre für Vater eine große Erleichterung, daß er nicht mehr mit dem Holzwagen los braucht und daß der Junge wieder da ist. Der Junge ist extra los heute. Vater sagt, das wird Ihm Spaß machen. Das hat er die ganzen Jahre nicht tun können. Nun kann er Holz holen. Für uns. Für morgen zum Waschen. Sag ihr das, daß er extra mit dem Wagen los ist und daß sie mir nicht das Seifenpulver vergißt.

Er hörte eine Mädchenstimme antworten. Dann wurde die Tür zugemacht, und das Mädchen lief die Treppen hinunter. Er konnte ihre kleine rutschende Hand das ganze Treppengeländer entlang bis unten verfolgen. Dann hörte er nur ihre Beine noch. Dann war es still. Man hörte das Geräusch, das die Stille machte.

Er ging langsam die Treppe abwärts, langsam Stufe um Stufe abwärts. Ich muß das Holz holen, sagte er, natürlich, das hab ich ja ganz vergessen. Ich muß ja das Holz holen, für morgen.

Er ging immer schneller die Treppen hinunter und ließ seine Hand dabei kurz hintereinander auf das Treppengeländer klatschen. Das Holz, sagte er, ich muß ja das Holz holen. Für uns. Für morgen. Und er sprang die letzten Stufen mit großen Sätzen abwärts. Ganz oben ließ das dicke Glasdach einen blassen Himmel hindurch. Hier unten aber mußten die Lampen brennen. Jeden Tag.

Alle Tage. 

Rainer Maria Rilke¹*Frau Carry Brachvogel*

Ein weisses Schloss in weisser Einsamkeit.
In blanken Sälen schleichen leise Schauer.
Totkrank krallt das Gerank sich an die Mauer,
Und alle Wege weltwärts sind verschneit.
Darüber hängt der Himmel brach und breit.
Es blinkt das Schloss. Und längs den weissen Wänden
Hilft sich die Sehnsucht fort mit irren Händen ...
Die Uhren steh'n im Schloss: Es starb die Zeit.

Райнер Мария Рильке

* * *

Белеет замок, холодом укрыт.
По тёмным залам проплывают тени.
Увечный плющ не держится за стены —
Лежит в снегу. Весь мир в снегу лежит.
Пустынно небо и тоска спешит
Отсюда прочь, неверными руками
Обледелый обнимая камень.
Часы стоят. И время в них стоит.

Перевод: Александр Ланин

¹ В июле-августе 2019 года журнал «Берлин.Берега» проводил конкурс перевода. В качестве задания было предложено вышеприведённое стихотворение Рильке. Публикуем переводы победителя (Александр Ланин) и призёров (Сергей Страхов, Ирина Берёза). В жюри входили Эдуард Лурье, Григорий Кофман, Наталья Хмельёва.

* * *

Бел замок, одиночество бело.
Озноб по анфиладам прокатился.
Плющ в камни обреченно, цепко впился,
И все дороги снегом замело.

Над замком — неба ширь и тучи в ряд.
Мерцает замок, а вдоль стен белёсых
Бредёт тоска, ощупывая воздух...
Скончалось время: все часы стоят.

Перевод: Сергей Страхов

* * *

Белый замок в оковах снегов,
Плющ засохший змеится по стенам,
Тают робкие бледные тени
Исчезающей строчкой следов.

Этот замок мерцает сквозь снег,
Здесь тоска, опираясь на камень,
Стиснет стрелки сухими руками,
Чтобы время уснуло навек.

Перевод: Ирина Берёза

Павел Лион (Псой Короленко): Подсчётом своих песен пока не занимался

Музыкант, поэт и исполнитель собственных песен Павел Лион, выступающий под псевдонимом Псой Короленко, в интервью главному редактору «Берлин.Берега» Григорию Аросеву рассказал о связях с немецкой культурой, провёл ревизию «своих» языков и песен, признался в особых чувствах к Берлину и высказал мнение о жанре военных песен.

«Берлин.Берега». Уважаемый Павел Эдуардович, вы исполняете свои и не свои песни на целом ряде языков. Какой из них, за исключением русского, вам ближе всего (и почему)?

Павел Лион. «Ближе всего» — смотря в какой номинации. По уровню владения — английский, его я учил в школе с детства, потом уже подхватывал в Америке, где сначала подолгу и часто бывал, а потом и жил, а также путешествуя по белу свету. По семейной истории — французский, который был вторым родным для моего дедушки, жившего в юности в Женеве и Париже, и он меня учил языку, но я многое забыл, а потом частично вспомнил, в основном по песням. А также идиш, поскольку на нём говорили мои другие бабушка и дедушка, хотя от них я мало что успел узнать, идиш я познал уже во взрослом возрасте, через клезмерскую музыку, еврейскую песню и другие актуальные контексты. По активности в репертуаре — тоже идиш, многие мои проекты связаны с ним. По свежести и новизне для меня — португальский, только недавно стал примериваться к нему, с тех пор как пою в проекте «Де-феса», посвящённом бразильской «Тропикалии». Иногда в песнях встречаются цитаты и из других языков (итальянский, немецкий, украинский, польский, другие). Можно сказать, что они мне «ближе всего» по употребляемости в этих конкретных песнях.

Вы упомянули идиш. Действительно, в ваших текстах нередко появляются длинные фразы или даже целые куплеты на нём. Расскажите ещё немного, что вас связывает с идишем?

Это язык очень любимой мною театрално-народно-эстрадной идишской и «новой клезмерской» музыкальной культуры, а также одной из очень сильных, хотя и малоизвестных европейских поэзий (Мангер, Суцкевер и многие другие) и песенных культур (Лейбу Левин, Бейла Шехтер-Готесман и другие). Когда я слышал в детстве сестёр Бэрри, мне сказали, что это немецкий, но позднее я разобрался, что к чему. Потом я слушал идишский репертуар полиглота и прекрасного исполнителя песен, замечательного артиста Теодора Бикеля, а позднее — современных лидеров новой идишской сцены, Майкла Альперта, Клезматикс, Адрианну Купер и других, с которыми позднее познакомился, подружился и многому от них научился, и работал вместе. Особенно много работаю с Дэниелом Каном (Берлин-Детройт), у нас есть большой совместный репертуар на русском, идише, английском, большое место у нас занимают переводы.

Есть ли у вас особые отношения с Германией, немецкой культурой, литературой/философией/музыкой?

Здесь можно назвать очень много великих имён. Наверное, их назвал бы любой человек, говорящий по-русски. Поэтому я ограничусь каким-то моментальным списком, назову только тех, кто придёт в голову спонтанно, этот список может быть очень произвольным, и я не обещаю, что он будет отражать мой действительный кругозор, скорее это синонимичная проекция.

Ну, Томас Манн, «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус», Бертольт Брехт, Курт Вайль и Эрнст Буш («Потому что рабочий ты сам», *Die Sozialistische Weltrepublik*), Эрих Мария Ремарк («На Западном фронте без перемен»), «Изречение Анаксимандра» Хайдеггера в переводе Татьяны Васильевой, в музыке Шуберт (*Im Haine, Drang In Die Ferne, Nacht Und Träume, Ständchen, Aufenthalt* и другие), Шуман («Первая утрата», «Во сне я горько плакал»), в последнее время стал думать о Бахе, раньше о нём не думал, хотя

знал и играл в музыкальной школе, а теперь стал думать, потому что почитал книгу о нём отца Петра Мещеринова (кстати, иногда живущего в Берлине и глубоко владеющего теорией и историей немецкой культуры, в качестве учёного), Пауль Тиллих и Дитрих Бонхёффер («Вера и свобода»), Нина Хаген, Вольф Бирман и Франц Йозеф Дегенхардт (инакомыслящие вольнодумцы двух Германий), Макс Раабе, *Comedian Harmonists*, журнал «Бумми», который был одним из первых чтений в детстве, хотя я не понимал ни слова, но сам медвежонок Бумми и картинки очень запомнились.

Если говорить шире, о немецко-язычной, в том числе и не-германской литературе, тогда Вера Ферра-Микура и Мира Лобе (сборник их детских повестей в русском переводе), Зигмунд Фрейд и Карл-Густав Юнг, Густав Майринк («Ангел Западного Окна» в особенности), Пауль Целан (Todesfuge, Mandorla). Чем больше думаю, тем больше буду вспоминать. И эти имена нанизываются друг на друга. Гёте! Стихотворения Лермонтова по его мотивам никто не отменял, с Гейне то же самое. Его апроприировала русская культура на уровне школьной программы. Про Бетховена чуть не забыл. Наверное, тут надо назвать «Раммштайн» и «Чингисхан», две разные группы разных эпох, обе прекрасные, обе спевшие однажды про Москву. Сколько бы я ни говорил, лист будет неполным.

Как у вас с немецким языком?

По-немецки толково знаю только одну фразу: «Вера ист глюклих. Зи штудиерт ин Москауэр штатлихен Универзитэт. Алс цвайтэ шпрахэ штудиерт зи Дойч. Унд ди андерэн Штудентен шпрехен аух Дойч». Это из учебника немецкого как второго иностранного для МГУ тех лет, когда я учился. Больше ничего не помню. Но из песен приходят другие слова.

Падение берлинской Стены, мирная революция, объединение Германий — «поворот», как его называют сами немцы — произошёл, когда вы были студентом. Попадала ли берлинская тема в поле внимания — лично вашего и вашего окружения? Ощущались ли те события настоящим

«поворотом» или для вас эти события оставались второстепенными в свете происходящего в СССР?

В 2013 году я перевёл на русский язык одну из своих любимых песен Дэниела Кана *Good Old Bad Old Days*, в переводе — «Старое доброе зло», где речь идёт о любви, ностальгии (или *Ostalgie*) и времени, о свободе и зависимости, о добре и зле. В этой песне есть образ разрушенной стены, границы между Берлинами и Германиями как хирургического шрама. Сходный образ потом встретился мне в песне Вольфа Бирмана *Als Wir Ans Ufer Kamen: Die Wunden wollen nicht zugehen, Unter dem Dreckverband...* («Под грязной этой повязкой, бессмысленной грязной повязкой не заживают раны», русский текст Натальи Мельниковой). Вероятно, это такой инвариантный образ-символ.

Интересно, что перевод песни Кана был фактически закончен в момент пересечения мною границы с Германией, когда я буквально прошёл паспортный контроль и вышел в город, и как раз была дописана последняя строка, долго мне не дававшаяся (именно про шрам — «А по нашим местам вьётся каменный шрам — след границы, что раньше казалась судьбой»), а о переводе этой песни Бирмана я знаю, что он был завершён непосредственно в годовщину разрушения берлинской Стены.

Всё это очень символично, но при этом я не могу вспомнить особо ярких мыслей по этому поводу в те горбачёвские годы, когда произошло падение Стены. Помню, что был рад: это символизировало конец холодной войны и обновление. Когда я впервые приехал в Берлин, побывал на Чекпойнт Чарли и других местах, связанных со Стеной, было много впечатлений, и самое яркое из них — это рассказ о станциях-призраках берлинского метро. Тема метро для меня вообще важна, в ней есть что-то сновидческое, мне часто снится метро, и конечно, история этих станций произвела большое впечатление.

Многие жители Берлина, и их можно понять, считают город особым, ни на что и ни на кого не похожим, что связано в первую очередь с историей и духом свободы, царящим в городе. Вы как человек, относящийся к Берлину даже если с симпатией, но всё равно нейтрально, как считаете: такое мнение обосновано или нет?

Достаточно сказать, что это единственный большой город, где я не боялся ездить на велосипеде! Любимый город — так я называю Берлин. Даже пою иногда там на концерте песню из репертуара Бернеса: «Любимый город... может спать спокойно...» Конечно, та песня времён войны, и уж никак не про Берлин. Но для меня сейчас «лю-би-мый го-род...» — это именно он!

Берлин на сегодняшний день самый энергетически дружелюбный мне город в Европе, и один из наиболее любимых городов в мире, с ним связано много важных впечатлений. Очень люблю районы Пренцлауэрберг, Нойкёльн, Кройцберг. Там много друзей и близких по духу, энергетике, людей. Часто выступаю в театре P.A.N.D.A в *Kulturbrauerei*, иногда в Театре Горького, где работает Дэниел Кан.

Пользуясь случаем, передаю привет Дэниелу Кану, Еве Лапскер, группе *The Painted Bird*, Пете Горьеву, Марине Френк, Марианне Зальцман, Саше Дельфину, Свете Мюллер, Дане Адашинскому, Эле Ялонецкой и всей её семье, Ане Меркуловой и Лёне Улицкому, Тане Скляр, Владимиру Каминеру, Юрию Гуражи, Дмитрию Сорокину, Саше Лурье, Сергею Невскому, Маше и Ане Липкович, и многим другим людям, сотворяющим в Берлине мега-мост русских и русскоязычных культур, всех невозможно перечислить. Рад, что с хорошими людьми в Берлине довелось дружить. Надеюсь ещё много раз туда приехать.

Есть ли у вас любимый город в Германии?

Берлин — мегаполис, который не давит. Один из самых удобных по транспорту городов, которые я знаю. Помимо Берлина, нравятся Штутгарт, Дюссельдорф, Мюнхен, Дрезден, Кёльн, Ганновер, Гамбург. Недавно побывал в Халле, и там мне тоже очень понравилось.

Тот же вопрос о мире в целом.

Москва — родной город. Петербург — и он по-своему родной. Пермь — с ней тоже очень много связано. В Америке — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, отчасти Бэй Эриа, это города, связанные как-то с жизнью, с личными факторами, но наверное

самый милый сердцу город чисто как город там на сегодняшний день это, пожалуй Филадельфия. Слово «любимый» вообще не очень люблю, я в разные моменты люблю разные города, то же самое относится, пожалуй, и к другим вещам. Одесса — мама, Ростов — папа. Кого ты больше любишь, маму или папу? Конечно же, мороженое!

Вы уже упомянули свой перевод песни *Good old bad old days*, «Старое доброе зло» Дэниела Кана — она про Берлин. При том, что в целом перевод не просто точный, но ещё и очень поэтичный, в оригинале есть один момент, который на русском как будто пропущен. В оригинале на английском герой идёт через границу (*I followed you over the border*), а в переводе герой идёт «вдоль границы». В первом случае действительно удивительно, что «солдаты в нас не стреляли» (*they all held their fire*), а во втором это не так странно. Вы сознательно убрали эту драматургическую составляющую?

Да нет, просто строчка никак не давалась. И я решил пожертвовать нюансом ради песенной грациозности. Всё равно при переводе неизбежно чем-то жертвуешь. А теперь подумал: может, «сквозь границу» надо петь? Просто рифма тогда треснет: «вдоль границы — у водицы» хорошо, а тут будет уже «сквозь границу — у водицы», ненавижу именные рифмы с разными падежами, хотя у бардов они часто встречаются, и более чем допустимы в рамках песенного жанра. Но тем не менее. Мысль важная, может быть, я поменяю эту строчку.

Есть ли у вас другие тексты/песни, которые были написаны под влиянием каких-либо немецких реалий — языковых, культурологических, географических?

Ну вот в репертуаре есть такие песни, я уже о них говорил. Но это не мои авторские песни. В случае с Каном — мой перевод, но оригинал и музыка всё равно не мои. Ещё с ним же поём перевод песни Чингисхана «Москва» на идиш, местами играя на сходстве идиша с немецким. Ещё была кантата «Халоймес» на идише, это наши тексты с Андреем

Бредштейном (он был куратором и консультантом, помогал мне с идишем, мой был в основном концептуальный креатив), на музыку песен Шуберта, модифицированных композитором Юрием Красавиным в рамках проекта Бориса Филановского и Ансамбля Института Про Арте, это было в самом начале века, пели в Невской куртине в Петропавловке. Это были комико-философские песни о некоем полусказочном ребенке, Йойне (Ионе), который путешествует в Израиль, он же «чрево кита», и многое другое.

Сейчас мы с Евгением Хазданом, петербургским композитором и активным пропагандистом и архиватором современной и традиционной идишской культуры, думаем о возможности заново сыграть этот проект, и это, возможно, состоится уже в 2020 году. В этих песнях также есть игра на сходстве и различиях идиша с немецким. Одна из этих песен, на основе «Приюта», стала позднее (на другие слова) гимном так называемой «Мединат Ваймар», условного «еврейского государства в Тюрингии», которое является арт-проектом Ронена Эйдельмана, израильянина, живущего в Берлине, придумавшего этот проект как некий экстравагантный символ преодоления различных немецких, еврейских, арабских, европейских и общечеловеческих политических травм двадцатого века. Мы написали этот гимн вместе с Дэниелом Каном и записали его для проекта Ронена Эйдельмана на идише, английском и немецком языках.

Вы работаете как автор текстов, переводчик, композитор, исполнитель — то есть на поверхности вы постоянно связаны с музыкой. Есть ли «подводная» часть, есть ли у вас интерес к чистой поэзии?

Пожалуй, скорее нет. Если я иногда для себя и пишу *rhymes*, и даже порой читаю их под музыку, мой жанр — это песня. Есть и такие случаи, как написание поэтического либретто («Оратория Жизнь Петра Пospelова и Юрия Николаева на модифицированную музыку Пятой Симфонии Чайковского»), тексты арий для «Волшебной флейты» Моцарта в версии Екатерины Пospelовой для Маленького Оперного Театра, наконец, участвовал в «Ночи Баха», писал тексты хоралов для

«Страстей по Матфею — 2000», большого суперпроекта Петра и Екатерины Поспеловых, в которых участвовали многие поэты, композиторы и музыканты. Кстати, как можно заметить, два из этих проекта связаны с немецкой музыкой.

Вы выступаете буквально везде и по сути непрерывно. Есть ли отличия между вашей публикой в России и зрителями в странах «дальнего зарубежья», есть ли разница, как вас принимают, например, в Израиле/США и в Германии?

Пожалуй, в целом одинаково. Если уж человек пришёл на концерт, в нашу эпоху интернета, то он довольно сильно синхронизирован с тобой и с твоим репертуаром. И, соответственно, он будет, в общем и целом, реагировать так, как реагирует твой естественный фолловер. Различие в том, что за пределами России определённая часть аудитории не говорит по-русски либо русский для них иностранный, соответственно, этим будут диктоваться какие-то отличия в восприятии.

Вы упомянули военные песни. Интересна ли вам, близка ли вам как автору стихов и песен какая-либо из войн (если есть, какая и почему)?

У меня в 2018 году вышло два альбома. Один широко известный, *Yiddish Glory*, это песни любительских авторов на идише времён Второй мировой войны, живших в Советском Союзе. Это часть проекта профессора Анны Штерншис (университет Торонто), изучающей архивы Моисея Береговского и другие материалы, связанные с советским идишем. Её идея состояла в том, чтобы сделать работу над этим архивом также мультимедийным проектом, а не только академическим, чтобы исполнение этих песен стало социо-культурной практикой, позволяющей дать голос этим людям, а также фольклористам, которые их изучали. В альбоме участвует трио Лойко и другие замечательные музыканты. Он был номинирован на Грэмми.

Другой диск, хоть и менее известный, но очень мне дорогой, «Конь, Пёс, Солдат и Проститутка» (Auris Media, 2018) является сборником идишских народных песен и песен на стихи

поэтов, связанных прямо или косвенно с Первой мировой войной. Это песни в основном о солдатах, но при этом не о войне. Скорее, о любви, природе, смерти, различных человеческих чувствах. Автор музыки большей части песен, кроме народных, Гершон Лейзерсон, в альбоме участвуют также Эли Премингер, Игорь Крутоголов и другие отличные музыканты. Таким образом у меня осуществилась некая музыкальная рефлексия на тему двух войн — Первой и Второй мировых.

А ещё однажды, когда я жил в Москве на Можайском шоссе, я во сне увидел отступающих французов. Думаю, что война 1812 года для меня очень важна. Наверное, это связано с русской литературой. У меня нет песен, связанных с этой войной, но Наполеон упоминается в песенке-парафразе на тему Прекрасной Маркизы, думаю, что не случайно. Если бы мне попались в какой-то момент песни времён этой войны, мне наверняка было бы интересно.

Жив ли сейчас жанр военной песни как таковой или он существует только как реликт?

К сожалению, не реликт. Песни-то хорошие, но сами понимаете. Современные песни актуальных войн не хочется обсуждать. Чем дальше война, тем симпатичнее песни. Они как бы о прошлом. А так-то лучше бы не было войн. В крайнем случае обошлись бы мы как-нибудь без военных песен.

Занимались ли вы ревизией своих песен? Сколько песен вы написали всего, сколько исполняете чужих песен, сколько сейчас у вас в активном использовании?

И того, и другого много, но в разы больше своих собственных. На втором месте — переводы, на третьем соавторские песни, совсем чужих мало, это часто концептуальные каверы, римейки. Но есть и чисто исполнительские номера. Протоиерей Димитрий Струев, основатель любимого мною фестиваля «Друзья Экклезиаста» в Липецке, посоветовал петь песню Петра Старчика на стихи Александра Солодовникова «Лён, голубой цветочек...» Пою просто, без выкрутасов. Это также песня из репертуара Виктора Луферова. Подсчётом своих песен пока не занимался.

Можете ли вы представить, что когда-нибудь захотите полностью прекратить свои выступления? В какой части света в этом случае вы бы хотели осесть?

Да, могу. Часть света в этом случае не будет иметь значения. Как Бог захочет. 

Об этой рубрике

В ноябре 2019 года в Берлине, в Германии и в целом по всему миру вспоминали дни тридцатилетней давности, — дни, когда рухнула Берлинская стена. Событие это получилось сколь ожидаемым, столь и внезапным, а чуть позже выяснилось, что и во многом случайным — ведь по большому счёту такое резкое открытие границы произошло благодаря непродуманной фразе одного из высших чинов тогдашней ГДР. Гюнтер Шабовски, не зная, с какого момента начинает действовать обнародованное постановление о свободном перемещении между Западом и Востоком, на пресс-конференции неуверенно обронил: «Немедленно», что и привело к стихийному скоплению огромного количества людей с восточной стороны границы, а спустя короткое время и к её открытию.

О падении Стены написаны и сняты сотни книг и статей, фильмов и репортажей. Но всегда остаются люди — те, которые всё это видели, пережили, перечувствовали. Многие уже так или иначе рассказывали свои истории, но далеко не все. Мы предлагаем вашему вниманию несколько живых свидетельств того времени: специально для этого номера «Берлин.Берега» своими историями в виде монологов поделились несколько русскоязычных жительниц немецкой столицы, которые по тем или иным причинам уже жили в Берлине — по обе стороны Стены — в 1989 году. Их рассказы очень разные, хотя есть некоторые подробности, которые упоминали все — естественно, они остались в тексте. Тем интереснее их подмечать и фиксировать.

Завершает специальную рубрику две короткие реплики от коренной жительницы Берлина и уроженца западной части страны, который переехал в Западный Берлин в разгар разделённого периода.

Представленные монологи не претендуют на полноту охвата произошедших событий, но они позволяют чуть лучше понять то, что пережили Берлин, ГДР и ФРГ, а потом и объединённая Германия три десятка лет назад. 

Елена Хасман: После падения Стены это был шизофренически больной город

Мой дед был военным переводчиком, мне нравился немецкий язык, и поэтому я поступила в Московский институт иностранных языков и окончила его. В середине восьмидесятых я меньше семестра отучилась в ГДР, в Тюрингии, в университете Йены. А летом 1989-го года я поехала в Западный Берлин в гости к своей приятельнице, которая там жила. Тогда я думала о том, что мне можно ещё сделать для своего образования. И подруга сказала, что в берлинском Свободном университете есть 13-процентная квота для иностранцев. Меня эта мысль зацепила, и я сумела поступить туда вольнослушателем — хотя изначально я ехала в Берлин просто в гости, а мысли об учёбе были со мной везде и всегда.

Процедура оформления документов была довольно простой. Бюрократическая машина раскачивалась не быстро, к тому же, тогда никто ничего не умел правильно делать — я имею в виду сотрудников посольства и консульства. Что это — какие-то девчонки-студентки куда-то там едут? Поэтому первую визу, гостевую, я получила не мгновенно. И хотя тогда были паспорта на выезд, всё равно самым главным было иметь приглашение. Получила — поезжай. Точнее, лети: я прилетела на самолёте в аэропорт Шёнефельд. На сам Шёнефельд мои глаза реагировали ещё спокойно, это была привычная советская обстановка. А потом... Я помню, въезжаешь в Западный, всё на тебя давит, огромные рекламные плакаты, хочется закрыть глаза, просто погасить свет — такое всё было яркое, много пёстро одетых людей: мужчины в каких-то оранжевых свитерах...

Поначалу я жила очень феппенебельно: поселилась возле Оливерплац, на Гизебрехтштрассе. Сейчас этот дом вполне сохранился. Мы немного путешествовали, а потом начался университет. Надо было оформить документы, в полиции для иностранцев продлить визу в связи с тем, что я стала вольно-

слушательницей. Там на меня тоже смотрели очень странно, потому что советских девушек, приезжавших с такой целью, там отродясь не видели — 89-й год, что вы хотите. Были студенты, приезжавшие по обмену, а я-то частным путём приехала.

Берлины были очень разные. Вообще я не приезжала в Восточный Берлин. Во-первых, особого интереса не было. Но у меня в университете появился приятель, так с ним я всё-таки там побывала. Атмосфера на востоке была очень специфической: серая полуразрушенная масса, на самом деле даже не серая, а землисто-желтовато-непонятного цвета. Это было ужасно. Всё было подёрнуто патиной из-за печек, угольного отопления. С ноября здесь стоял тяжелейший запах, а когда над Берлином нависали облака, как обычно происходит в ноябре, когда небо низкое, этот запах висел прямо над головой. Здесь в центре кругом топили печки. А центр восточного Берлина на меня в целом произвёл впечатление города сразу после войны. Хотя прошло сорок пять лет.

Потом, естественно, тот самый приятель, коренной берлинец, показал мне некоторые достопримечательности. Мы с ним ходили по музейному центру — там же все стены были в пулях. Все. Сейчас кое-что оставили для памяти, а тогда это было везде. А ещё — непроницаемые сероватые лица людей, одинаково одетых.

Тогда в ГДР была дикая мода на «варёнку». И все, как один, ходили в таком. А у меня аллергия на всякого рода униформу, то есть я воспринимала людей как какую-то униформированную массу, и мне казалось, что они что-то затевают. А поскольку мне было всё-таки довольно мало лет, мне казалось, что это всё замышляется в том числе против меня.

Мы проходили через пропускной пункт на Фридрихштрассе, через *Tränenpalast*¹. Слезных прощаний я тогда уже не видела, но даже на советской границе людей с таким выражением

¹ *Tränenpalast* (нем.) — дословно «дворец слёз». Разговорное название бывшего зала станции Фридрихштрассе, которая с 1961 по 1989 годы служила границей между Восточным и Западным Берлином. Расположен с восточной стороны. Название связано с эмоциями жителей Восточного Берлина, которые в этом зале прощались со своими друзьями и родственниками, жившими на Западе.

лица, как здесь, не было. У русских не всегда получается сделать такое ледяное выражение лица. Это умеют европейцы, особенно немцы. Такое поглощающее тебя лицо, как будто тебя сейчас заморозят. По-моему, с примесью ненависти. Ну, кто я такая? Молодая особа, ходит туда-сюда. И что она вообще ходит? Чем она вообще занимается? Когда мы ездили в Потсдам, ко мне пытались прицепиться и сказать, что я не могу идти — то ли туда, то ли обратно. И я очень неуверенно им отвечала, я тогда ещё совсем не владела тем политическим языком. Но договориться всё-таки удалось.

Никакого «ветра перемен» я не чувствовала. Запах, физический запах, — это тоже атмосфера. И на Востоке была жуткая удручающая атмосфера. Так я чувствовала. Впрочем, на Западе тоже везде, кроме самых дорогих районов, топили печки. Так что всё-таки дело не в этом. На Западе всегда, стоило пересечь границу, ощущался воздух свободы: люди были гораздо раскованнее. Это не миф, не стереотип. Хотелось скорее обратно: вернулся — и опять дышится легко. Совсем другие люди, другое всё.

Сейчас я смотрю хронику — и вижу, что летом, когда я приехала, уже что-то происходило в ГДР. Но я этого не понимала, об этом никто из моих знакомых не говорил. Я не отдавала себе отчёта в том, что на Востоке идут какие-то события. Да меня это и не интересовало совершенно. Я ведь всё равно жила со своим «бэкграундом», у нас в стране, в СССР, тоже ведь столько всего происходило — Горбачёв, перестройка... Но главное — у меня была перспектива учёбы в Свободном университете. И я чувствовала, что *свобода* — моя главная потребность.

То, что произошло, в ноябре, — лавина. Внезапная лавина. Я уже училась в университете и пела в университетском хоре — я вообще люблю петь. И вот мы как раз разучивали «Реквием» Брамса, и у нас в гостях, я имею в виду университет, был хор МГУ. В этот день у нас была прощальная вечеринка. Кутили в каком-то кафе прямо рядом с университетом, в Далеме. Настал момент прощаний, уже было поздно, мы стали разъезжаться по домам, естественно, по-студенчески: заваливались в машины большими группами. По пути я заснула, а когда проснулась,

увидела, что мы стоим на Курфюрстендамм, возле автобусной остановки напротив той же Оливерплац, на часах три ночи, а машин вокруг столько, сколько не каждый день бывает. Я стала спрашивать: «Что происходит? Почему столько машин?» Мне говорят: «Видишь, пробка, а ты что, ничего не знаешь?». — «А что я должна знать?» — «Ну как? *Die Mauer ist gefallen*»², сказал мне кто-то сзади. Нас было много-много в машине, как селёдок в бочке, и кто-то ещё добавил: «*Und ausgerechnet eine Russin im Auto*»³. Я была как знамя.

Решили тут же ехать куда-то туда. Я сейчас точно не помню, куда мы приехали, думаю, это был пропускной пункт на Инвалиденштрассе. Мы поехали туда, куда нас вела эта огромная автомобильная масса. Все туда ехали, мы никак не могли никуда оттуда вырлиться.

И этот момент, когда открываются ворота — мы приехали незадолго до этого, их ещё не открыли их. Я помню очень хорошо, как начали открываться ворота, огромные ворота. В темноте они казались ещё больше, особенно с моим плохим зрением. Так вот, открываются эти массивные ворота, приглашая нас в черноту — за спиной хорошо освещённый Западный Берлин, а впереди просто темень жуткая. Ведь в ГДР, в Восточном Берлине нормально освещались только центральные улицы. А прочие или совсем не освещались, или тускло-тускло... Поэтому я так его и не любила — жуткий запах, цвет стен и жуткое, могильное освещение. Так вот, мы сунули туда нос и вернулись, потому что там было очень неудобно и тревожно. Туда не хотелось, хотя кто-то, не из моих знакомых, рискнул и пошёл.

Резко сменилось выражение лица у пограничников, это я заметила, потому что контраст был разительный. Я помню, как они на меня смотрели раньше, и помню, как вдруг изменились лица этих молодых ребят. Впрочем, там, в *Tränenpalast*, работали совсем другие люди, не простые пограничники, а люди из спецслужб, они были гораздо старше. А на границе стояли совсем молодые, срочники.

² Стена упала (нем.).

³ И как назло в машине русская (нем.).

Ощущение, что я присутствовала при историческом событии, главном в моей жизни, меня пронзило мгновенно. Я и до сих пор так считаю. Почему? Во-первых, я человек по природе своей очень свободолюбивый. Во-вторых, я приехала тоже из не свободной страны, но у нас были свои нищи свободы — как минимум из-за огромных расстояний. Пока едешь хотя бы в какой-нибудь Переславль-Залесский, ощущение, что как будто даже обретаешь крылья. И в Западном Берлине мы чувствовали, как на нас давила Стена. Она была везде. Полчаса в любую сторону, бах — и перед носом опять она. Было ощущение затравленности, как в клетке. И оно появилось быстро, очень быстро. А ещё вечные разговоры, рассказы людей, которые сбежали или официально перешли с Востока на Запад... Всё это было ненормально в рамках одного города.

После падения Стены город был наводнён людьми из ГДР. Казалось, что они совсем другие, как будто с луны свалились — и одежда, и выражения лиц... Многие передвигались семьями: папа, мама и дети. Ещё я помню, что в магазинах и лавках стали пропадать апельсины и бананы — в ГДР ничего не было, точнее, было по большим праздникам. Я это пережила ещё по своей учёбе в Тюрингии — какие там были дикие очереди за помидорами. Кстати, тогда же я поняла, что Берлин был действительно особым городом, он очень отличался от всего, включая ту же Тюрингию. Там была Германия. А это — Берлин. Но не в каком-то возвышенном смысле, скорее наоборот: здесь ощущались попытки всё излишне политизировать.

А ещё запахи. Я помню тяжёлый запах бытовых химикатов, которыми в ГДР всё стерилизовали. В России так не пахнет и вообще больше нигде я таких жутких запахов не чувствовала. У меня тогда подспудное ощущение, что в ГДР затирают все следы творившихся здесь ужасов самыми мерзкими дезинфекционными средствами. Подобное ощущение у меня сохранилось до сих пор. Оно смягчилось, естественно, я стала больше доверять восточным немцам, потому что я познакомилась с большим количеством конкретных живых вменяемых людей. Но вот когда на меня наступает человеческая масса, у меня тут же всплывают эти картины.

Берлин тогда и сейчас — две разных планеты. Если и есть что-то общее между «тогда» и «сейчас» — что-то в мышлении, может, в способности всё систематизировать и организовывать. Но не более того. Всё поменялось и в людях, и в городе, и в атмосфере.

Тогда мне казалось, что иностранцев в Западном Берлине и тогда было много, очень много. Но это был всё-таки взгляд очень молодого человека, неопытного. Так что сравнивать с тем, что сейчас, сложно. Впрочем в каждом западноберлинском кварталчике был свой китайский, греческий, югославский и итальянский рестораны. Стандартный набор. И к «нашему» греку я изредка заходила на бокал мавродафни — это такое ликёрное вино, тягучее-тягучее, красное, как кровь. Оно тогда было очень популярно. Подчас хотелось чуть-чуть отвлечься, потому что у меня, конечно, был тяжёлый культурный шок. Я чувствовала себя инородным элементом. Но это и понятно, мы были абсолютно по-разному социализованы.

В связи с жизнью тут у меня всегда эмоции очень сильные, очень тяжёлые и очень разные. Развитие шло поэтапно: вначале очень долгий период, когда мне было тяжело, я признавалась себе в том, что я, застряв тут, совершила ошибку очень серьёзную, дико необдуманный поступок. Я не «осталась», а «застряла». Это совершенно разные вещи.

Мои друзья-берлинцы, западные берлинцы, говорили, что это очень характерно для Берлина: ты здесь раз — и застрял. В Берлине поселилось много людей, которые совершенно не планировали тут жить. Надо хорошо понимать, что то, чем сейчас так восторгаются, это, так сказать, творение поздних лет. Берлин был совсем другим. И он был очень тяжёлым городом. После падения Стены это был шизофренически больной город. Можно было видеть массу совершенно психически нездоровых лиц. Особенно на фоне полуразрушенных зданий. Они производили впечатление зданий, которые вот-вот разрушатся. Ты ожидал, что это случится буквально на твоих глазах. Штукатурка падала... Когда я, сразу после объединения Германии, искала квартиру и шла по Хуфеландштрассе, а сейчас это очень дорогая улица, я боялась пройти под балконами —

мне казалось, что они сейчас упадут. И действительно, потом они очень серьёзно ремонтировались, многие балконы просто были демонтированы...

К Берлину я не могла привыкнуть очень долго. Собственно говоря, это не мой город, я его не так чтобы безумно люблю, но я к нему привыкла, привязалась, он мне очень много дал. Теперь, конечно, это мой город, я чувствую себя берлинкой. Но и мыслей переехать в другой город никогда не было. Это черта моего характера — я не меняю дислокацию, а наоборот, цепляюсь и делаю всё, чтобы изменить ситуацию. Это не всегда правильно. Иногда умнее просто уйти. А я этого не умела, и поэтому застряла. Если философски сформулировать — я застряла тут из-за того, что излишне серьёзно отношусь к жизни. 

Галина Дёмина: Какая свобода может соседствовать со страхом? Никакая.

Как я попала в Германию — дело интересное, сложное, корнями глубоко уходящее ещё в советскую жизнь. Я долго жила в Ташкенте и, будучи искусствоведам, работала там в Музее искусств. А кроме того, я по образованию филолог, окончила романо-германский факультет университета. Однажды волею обстоятельств мне довелось поработать через Союз архитекторов Узбекистана на конференции реставраторов стран Восточной Европы. Это было примерно в 1985-м или 1986-м году. Так сложилось, что я там оказалась единственным переводчиком с немецкого, которым владело большинство приглашённых специалистов. Общаться с немецкими архитекторами было очень интересно, равно как и им со мной, потому что я была для них единственным «окошком» в наш мир. Мы проводили вместе чуть ли не двадцать четыре часа в сутки, гуляя по городу и общаясь друг с другом на самые разные темы. В том числе о проблемах социализма, которые о ту пору были актуальны в Германии значительно больше, нежели в старорежимном Ташкенте.

С учётом профессиональной деятельности «моих» немцев — архитекторы, реставраторы — я могу сказать, что они были космополитами по своей сути, и жизнь за стеной в демократической Германии была им совершенно не в радость. Они прекрасно понимали, что жизнь кипит где-то, куда им путь закрыт. В разговоре я пыталась немного подшучивать над ними, говоря, что жизнь — это то, что у тебя в голове, что у тебя в сердце, и какая тебе разница, где творить, тем более что ты занимаешься, к примеру, древними эпохами. Они с пеной у рта это опровергали, так как были очень агрессивно настроены против своего строя. Мне было немного занятно это слышать, потому что в то время поездка в ГДР казалась нашим людям подлинным счастьем.

Постепенно ситуация в мире нагнеталась. Я переводила многим немцам в тот период, и поэтому, конечно, почти со всеми из ГДР заходили разговоры на тему невозможности жизни в восточной Германии, невозможности жизни при социализме и прочее, прочее.

Но это касалось только жителей ГДР. С западными немцами было иначе. Их больше интересовали другие вопросы: как мы выживаем, когда ничего нет, но мы не теряем оптимизма, бодрости духа и так далее. При этом немцы из ГДР были более агрессивно настроены к нам, поскольку считали, что во всех бедах виноваты «мы», а на все аргументы, что «мы живём ничуть не лучше чем вы», они отвечали: «это ваши проблемы, это ваш строй, это вы его принесли нам». Впрочем, ни одна беседа не заканчивалась «дракой», нам всегда удавалось вырливаться к более приятным темам. «Винной» тому была Азия с её необычной для западных людей ментальностью и непривычным укладом жизни.

Возвращаясь к общению с реставраторами: с одним из них я несколько лет переписывалась — мы лениво обменивались весточками о том о сём. В период своего пребывания в Ташкенте он и его коллеги не раз говорили, что мне надо обязательно приехать и посмотреть, что такое Германия, чтобы понимать «ту» жизнь. А я, кроме Чехии, тогда еще нигде не была, так что подобная поездка обещала быть чрезвычайно интересной. Однако выехать за границу в ту пору из Ташкента было очень сложно, тем более, посольство находилось в Москве. Но в результате получилось: сначала я получила приглашение, потом мне выдали визу, и в октябре 1989-го я на поезде приехала в Берлин. Можно сказать, оказалась там за секунду «до того».

Это был мой второй выезд за границу, и, естественно, я ехала с определёнными ожиданиями — думала, что я там увижу, услышу. Ну и вообще: сам факт того, что удалось вырваться на свободу, уже настраивал на оптимистичный лад. Что бросилось в глаза на подъезде к Восточному Берлину, точнее к *Ostbahnhof*: меня поразили кучи мусора, тянувшиеся вдоль железнодорожных путей. Невольно вспомнилось, как нам в школе постоянно рассказывали о немецком порядке, возведённом в превосходную

степень. А на деле оказалось, что всё вокруг *ruiniert*¹. Абсолютно не впечатляло. Потом меня вели по какому-то подземному переходу, где было очень много бездомных, попрошайек, сильно воняло мочой... Я тогда поймала себя на мысли: да, социализм везде одинаково пахнет.

В целом я ехала в Берлин не очарованной девочкой, а человеком, имевшим достаточно возможностей общаться с немцами. Я училась в Ташкенте в единственной немецкой спецшколе, где язык преподавали уже со второго класса. По несколько раз в год мы встречались с немецкими туристами, выступали перед ними с концертной программой, а потом много разговаривали с ними уже в свободном режиме. К тому же, имея в школьной программе такой предмет как «Немецкая литература», мы прочли немало книг, в том числе и социалистической направленности. На фоне этого мне интересно было найти то, что мне не понравится, нежели то, чем я очаруюсь. Архитектура и музеи, конечно, не в счёт. Мне было очень интересно сравнить немцев, которых я уже знала к тому моменту, и которых я узнала по ходу той поездки.

Меня встречал тот самый немец, мой товарищ по переписке. Всё было очень радостно и приятно, но я заметила, что он был как будто на взводе. Я по женской наивности решила, что он так рад моему приезду. Ну, рад он, конечно, был, но внутренняя эйфория и некоторое беспокойство, проявлявшиеся в его речах, вызывали во мне любопытство. Однако на все мои распросы он отвечал: «Потом расскажу». Я поселилась в квартире на Штраусбергплац. Хозяйка жилища, очень приятная пожилая дама лет восьмидесяти пяти, вечерами мне рассказывала о той, прежней жизни, когда в Германии всё было замечательно, о войне, о всех её бедах и перипетиях. Пригласивший меня немец появлялся каждый день, но все обещания куда-то меня свозить или что-то мне показать до поры оставались без воплощения. Я чувствовала, что ему совсем не до меня.

В один прекрасный день, точнее, вечер, он пригласил меня пройти до Александерплац. Заметив, что мой немец был совершенно пьян, я полюбопытствовала у него, что он

¹ Разрушено (нем.).

праздновал. На что он мне ответил: «Ты не представляешь, что происходит, скоро всему конец, повеял ветер свободы». А поскольку я только приехала и разместилась, естественно, в ГДР-вской части, то все обстоятельства ещё до моего сознания не дошли, потому что всего происходило слишком много.

Потом мы с ним съездили в Потсдам, ещё до тех самых событий. И что меня поразило: в сторону Берлина настолько увеличился поток машин, что мы еле-еле сумели въехать назад в город, простояв в пробке три или четыре часа. Как я понимаю теперь, а точно я не помню, к сожалению, всё это было уже буквально за два-три-четыре дня до исторического события.

И в самом Берлине царил напряжённый обстановка и велись разные разговоры. Ещё меня тогда изумило такое наблюдение. Стояли люди в каких-нибудь пивных или в кофейнях, очень оживлённо беседовали, но как только замечали, что приближался кто-то со стороны, не из их компании, то сразу все как-то съёживались и отходили в сторону. С позиции сегодняшнего дня понимаю, что это были пережитки того страха, с которым люди прожили разделённый период жизни, особенно взрослые люди, которые лучше осознавали всё происходящее.

В первое время я обитала исключительно в восточной части Берлина. Я там гуляла в том числе с моей хозяйкой квартиры, и она мне всё говорила о том, что да, вот мы прожили столько лет при социализме, столько было отдано. А сейчас в одно мгновение всё рушится на глазах. Я ещё спрашивала: «Вам столько пришлось пережить, не раз общественный строй меняли, и что сейчас?» Она отвечала: «Деточка, а какая разница, что сейчас, когда жизнь прошла? Тем не менее, в принципе, я рада, что социалисты уходят. Они отжили своё, и думаю, что будет трудно, но всё должно наладиться. Немцы должны жить с немцами».

Пробыв некоторое время в Берлине, я поехала дальше к своим ташкентским друзьям, обитавшим в Эрлангене, бывшем для меня таким «западным западом». Из-за этого в день-ночь падения Стены я была далеко от места событий. Там всё происходящее воспринималось никакого ажиотажа не вызвало, уж не знаю, почему, может быть, из-за чрезмерной удалённости

от Берлина, а может, потому что я вращалась среди уж совсем консервативных немцев. В любом случае всё прошло более чем спокойно.

В Эрлангене я жила в небольшой комнатухе, лишённой средств коммуникации, так что обо всех событиях, происходящих в Германии, мне рассказывали мои друзья, подробно сообщая о том, как немцы себя ведут, как они радуются, как они «триумфируют» и ходят туда-сюда через Стену. А ещё они очень эмоционально высказывались в адрес социалистов — сколько было ими потеряно, сколько сил они потратили на то, чтобы перебраться в Германию, и сейчас вот, наконец, это всё закончилось. То есть первая эйфория до меня дошла от «наших» людей, которые уехали в Германию с ненавистью к советскому строю и пытались на новом месте устроить свою жизнь и жизнь своих детей.

На западе я пробыла где-то неделю. Когда я вернулась, Стены уже не было. В городе было огромное количество народу, все находились в каком-то полубезумном состоянии.

И тут же я заметила огромную разницу между той интеллигентной частью Германии, с которой я пересекалась, общаясь со «своими» архитекторами, и другой, отмеченной печатью некоторого плебейства, страсти к накопительству. Оказалось, определённую группу населения Германии прельщала возможность «затариться» на западе — и они бежали с огромными сумками. Помню, я ехала в эсбана, и невозможно было даже зайти в вагоны — такие там были толпы с огромными сумками, на которых было написано *США*. Почему-то я это хорошо запомнила.

А потом к dame, у которой я жила, пришли гости, часть её семьи и просто знакомые. К столу позвали и меня. Это были люди того поколения, которые очень хорошо помнили войну, послевоенную ситуацию — и все они были в шоке от происходящего. Они, вроде, говорили, но в то же время боялись говорить — тот страх, который присутствовал в их жизни, ещё давил на них. У них были смешанные чувства, эмоции — страх, ненависть, зависть (к западным немцам, которые жили хорошей жизнью) и непонимание, что делать дальше, что будет дальше,

действительно ли будет так хорошо, как западные немцы им обещали. Впрочем, может, «зависть» — не то слово, может быть, это была скорее обида, яростная обида, которая говорила в них о том, что как не повезло. «*Wessi* повезло, а мы — *Ossi*, бедные-несчастные, нам не повезло».

Тогда я в первый раз услышала эти два понятия — «осси» и «весси». Помню, насколько меня поразило такое, практически ментальное, разделение представителей одной нации. Добро бы речь шла о разных народах, но ведь и те, и те — немцы...

Среди гостей, пришедших в тот вечер, были и бывшие владельцы дачи в районе Лихтенберг. Как раз по их участку прошла разделительная черта двух Берлинов, часть двора оказалась в западной части, часть — осталась на Востоке. Соответственно, половина семьи оказалась *Wessi*, половина — стала *Ossi*. И в тот вечер, сидя за столом, «осси» сетовали на то, что их западная родня до сих пор не соизволила поинтересоваться ими. Стена упала — и ни слуху ни духу от них, и к себе не спешат приглашать. Я пыталась как-то настроить их на более конструктивные мысли: «Подождите, вас не надо приглашать, вы можете сами поехать туда, тем более, это недалеко. Ну и потом — прошло-то после падения Стены всего ничего, и вы обязательно скоро увидите».

Всё это меня натолкнуло на мысль, что для того, чтобы немецкая нация вновь сошлась, должны умереть все поколения, знавшие разделённую жизнь. Тридцать лет спустя я бы не стала говорить о единстве нации, потому что, живя среди восточных немцев, я вам могу точно сказать, что у людей старшего возраста в голове до сих пор существует деление на «осси» и «весси».

Сегодня, задавая себе вопрос, удалось ли мне тогда осознать всё величие происходящего момента, я бы ответила, что скорее нет. Как мне кажется, для этого, во-первых, нужно было родиться немцем и однажды оказаться разделённым на две части. Не пережив на своей шкуре некоей большой судьбоносной истории, по чужим рассказам ею никогда не проникнуться. Во-вторых, занимаясь с шести лет немецким языком, я всегда воспринимала немцев как единую нацию. Точно так же они едины для меня по сей день, хотя, прожив десять лет в Германии, я

совершенно отчётливо вижу разницу между западными и восточными немцами. У молодёжи это заметно в меньшей степени, а у детей вообще отсутствует. Что же касается людей, перешагнувших четвёртый десяток лет, я вижу действительно тяжёлые пласты памяти, которые так просто не разрушить фантазиями или рассказами. Когда я слышу, что немцы до сих пор говорят: «Ой, как хорошо было в ГДР», я сразу слышу наше «Как хорошо было в Советском Союзе».

На эти измышления я им всегда говорю: «Ну хорошо, смотри, у вас сегодня есть дом, шикарная машина, счёт в банке, вы объездили полмира и так далее. А теперь представьте себе ситуацию: вам открылось окно в Восточный Берлин, в ГДР... Вы туда хотите?» Чешут затылки, думают, отвечают: «Нет, не хотим». На это я им говорю: «Ну вот и всё, вы тоскуете по каким-то отношениям, которым сегодня нет места в этом мире, ставшем более жёстким, капитализированным, глобальным. Но, в принципе, вы тоже не хотите культивировать и проявлять эти отношения в себе. Что мешает вам оставаться такими же сердечными, какими вы были раньше? В чём причина?» — «Это невозможно сейчас, сейчас все завидуют друг другу, с соседом общаться невозможно, потому что он смотрит на то, какая у меня машина».

Тогда, в конце восьмидесятых, самой свободной была молодёжь лет до тридцати. Молодым людям было проще, в них было меньше той *неправильной памяти*, которая вынуждала возвращаться в прошлое. Они тогда стремились к свету, понимая под светом каждый что-то своё, стремились к прогрессу. А что касается более старшего поколения — после эйфории воссоединения, после этого праздника они должны были вернуться в свои офисы, на работу. И для них началось всё самое ужасное — все те страхи, о которых я говорила, стали доминировать. А какая свобода может соседствовать со страхом? Никакая.

Мне уже тогда казалось, что существует некий разрыв между поколениями, и позже, уже переехав в Германию, я поняла, что была недалеко от истины — разрыв между молодёжным беспшибашным стремлением к свободе и отрезвлением старших

поколений. Молодёжи было без разницы, что делать. Имея одни штаны и пару обуви молодые люди могли отправиться путешествовать по свету. Совсем иначе дело обстояло с взрослой частью населения восточной Германии: что принесла ей эта свобода принесла? Возможность затариться «по-западному», съездить куда-то?.. Где-то через месяц после того, как Стена открылась, и первый голод и первая жажда были утолены, пришло другое. После эйфории пришло разочарование. И я думаю что это чувство мешало быстрому поступательному развитию.

С одной стороны — безудержное веселье, я помню, пиво лилось рекой, молодёжь на углах тусовалась, пели песни под гитары. А с другой стороны, были более взрослые люди, которые говорили: *Und was weiter? Und was nun?*² И вот как раз это *was nun?* и стало тогда главной пищей для размышлений.

В следующий раз я попала в Германию только в 2006-м. И, конечно, это была уже совсем другая страна, совсем иной Берлин. Более того, если сравнить 2006-й и 2019-й годы, то сейчас Берлин — это уже некий третий город, который я узнала. Сложно сказать, в лучшую или худшую сторону он изменился, но он стал другим. И, может, тот — 2006-го — грел меня меня больше, нежели Берлин сегодняшний. 

² И что дальше? И что сейчас? (нем.)

Эльвира Закс: Я стала думать: «Этого не может быть! Неужели это навсегда?»

Я приехала в Берлин из Одессы с родителями в 1979 году, мне было одиннадцать лет. Сперва мы собирались в Австралию. Но позднее, уже когда мы были в Италии, где жили несколько месяцев, моим родителями кто-то из уже живших в Австралии «наших» эмигрантов написал письмо, где сказал, что туда лучше не ехать. Родители передумали, и мы попали в Западный Берлин. При этом они не знали, куда лучше ехать. Просто то письмо очень многих людей, эмигрантов, как-то сбило с пути. Все побоялись лететь в Австралию и начали думать: а теперь куда? Кто на Америку «переписался», а кто-то...

Мы жили прямо в Риме, точнее, в пригороде, но на берегу, снимали квартиру в Лидо ди Остия. И в тот момент в Италии отдыхал кто-то из родственников или друзей наших эмигрантов. Они приехали повидаться и начали рассказывать, как здесь, в Западном Берлине, всё прекрасно. И очень многих уговорили приехать сюда.

Контраст с Одессой был ещё задолго до Берлина — в Вене, где мы останавливались на неделю или две, потом в Италии... И вот после Италии Берлин сразу показался мне очень серым, очень. Рекламные щиты, конечно, сияли, как и в Риме. Но сами люди какие-то были... серые. Всё было серого цвета, очень некрасивое, и мне правда не понравилось. Впрочем, это было только самое первое детское впечатление: Берлин, конечно, не был серым.

Я сразу пошла в школу, в пятый класс, совершенно без знания немецкого языка. Поначалу приходилось тяжело, да и другие дети в этом возрасте не всегда относятся к чужакам очень хорошо. На всю школу, кроме меня, ещё из иностранцев была пара польских детей, один турецкий мальчик и одна арабская девочка. Но потом, со временем, конечно, я выучила язык, эти проблемы исчезли...

То, что мы жили по сути в замкнутом пространстве, ощущалось очень сильно. Стена даже для нас, западных берлинцев, была везде, никуда от неё деться было нельзя. Когда я училась в автошколе, инструктор в шутку всегда говорил: «Не переживай, далеко не уедешь, всё равно остановишься около стены». Естественно, когда мы хотели, мы могли поехать на машине даже в другой город — в Гамбург, например, но приходилось стоять часа два-три на границе, чтобы транзитом через ГДР выехать из Западного Берлина в ФРГ. То есть в одну сторону две границы. И то же самое обратно. А если мы хотели попасть в Восточный Берлин, надо было заказать пропуск, который действовал только до полуночи.

На Восток я иногда ходила — как говорится, *just for fun*, для развлечения. Родственников, естественно, у нас там не было. Но у наших знакомых там были и родственники, и семьи. Они, естественно, чаще ходили в Восточный Берлин.

Мне всё это было очень интересно. Различия начинались сразу же. Переходишь через границу на Фридрихштрассе — и всё, начинается другой мир. Там всё было не просто серое, но ещё и поломанное, одеты люди были совсем не так, как на западе, «Трабанты» эти, а ещё запах от печек... Всё это очень сильно бросалось в глаза. Разница между Западным и Восточным Берлином была огромная.

Ну и сама граница. Если задуматься — посреди города была граница с противотанковыми заграждениями, «ежами», с овчарками, с вооружёнными солдатами, которые могли в любой момент открыть огонь... Это было ужасно, фактически — война в центре города, военное положение. И мы обсуждали с друзьями разные случаи, о которых писали в газетах — что кто-то перебежал через границу, их убивали...

Но при этом у нас не господствовало мнение, что Берлин — единый город, что надо стремиться к объединению. Говорили: да, это один город, но, мне кажется, люди на западе уже смирились с таким положением, не думали, что правильно, что неправильно. Жили своей жизнью, меньше занимались этим вопросом. То, что мы жили в свободном городе, хотя и изолированном, накладывало свой отпечаток. Привыкли, что есть Стена — и есть. Дети в футбол играли рядом с ней, использовали её как ворота...

Мы тогда жили в районе Мариенфельде, улица Максимилиана Каллера. Там ещё недалеко была граница с Бранденбургом, с ГДР. Но нашим центром был Курфюрстендамм. Вот там проходила наше отрочество, наша молодость.

Намёк на перемены стал ощущаться тогда, когда начали строить дома прямо рядом с Потсдамской площадью, совсем рядом с границей, совсем рядом со Стеной. Помню, мы подъехали туда с папой, и я говорю: «Посмотри, что-то здесь не то, может, что-то изменится?» А он мне тогда сказал: «Забудь, такого никогда не будет. Коммунизм, социализм будут стоять. Что они строят, не знаю, но поверь, там будут жить не простые люди, а перемен никаких не будет». Папа ошибся, но его можно понять — после Советского Союза он просто не мог поверить, что что-то может измениться.

К 1989-му году я уже отучилась, работала медсестрой в стоматологическом кабинете. И, честно скажу, вечер падения Стены я просто проспала. Я работала, это был будний день. На следующий день мне позвонила моя подруга Кристианэ и всё рассказала. Она сказала, что Стена открыта. Я ответила: «Какая стена, что ты мне вообще говоришь?» Она говорит: «Ну, Стена! Всё, границы нет. И гэдэровцы могут к нам ходить». Только тогда я включила телевизор, радио и всё услышала-увидела. До того нам показывали в новостях всякие демонстрации, читали новости о побегах из Венгрии, Чехословакии. Я побавалась, как бы у нас не началось что-то плохое — могла вмешаться армия или советские войска...

На следующий же день я поехала и всё своими глазами посмотрела. И увидела: да, действительно, толпы народа, «Трабанты» по всему Курфюрстендамму. Казалось, что Восточный Берлин весь в Западном. Это ощущение было сильным, мощным. Мы же уже привыкли к тому, что, когда ехали в метро или эсбанае, проезжали мимо закрытых станций — это было довольно страшно. А тут смотрю — уже все везде приезжают, проезжают. И стала думать: «Этого не может быть! Неужели это навсегда?» Первые дни, конечно, боялись, что это временно, что потом границы перекроют. Тем более, что пограничники всё ещё стояли и проверяли паспорта, просто так пройти границу ещё было нельзя.

Эйфория у восточных берлинцев прошла быстро. Буквально через пару месяцев они снова начали делить друг друга: мы — восточные берлинцы, мы — западные. Помню разговоры о том, какой Берлин лучше, я даже помню телепередачи: давайте, мол, сравним, у кого что хуже, какой Берлин красивее. (Мне, конечно, казалось, что тогда Западный Берлин был красивее.) Жители Востока, как мне виделось, начали себя чувствовать людьми второго класса, и потом у них началось такое самоутверждение: мы же всё равно люди и будем защищать своё. Часто они говорили, что мы, дескать, не виноваты в том, что жили на той стороне, у нас тоже не всё так плохо. В основном молодёжь так выступала.

Друзья-подруги из Восточного Берлина у меня появились не сразу. Были те, кто официально переехали в Западный Берлин. В школе у меня были две девочки с той стороны Стены, я немножко от них и их родителей знала о жизни там. А потом всё пошло постепенно, к примеру, мы ехали с подругами в Восточный Берлин, в кафе или на дискотеках знакомились с людьми.

Тёплыми отношения становились далеко не всегда и не сразу. Многие из новых знакомых старались держать дистанцию, и иногда даже весьма агрессивно с нами общались, когда мы приезжали туда — спрашивали, мол, что вы хотите здесь у нас. То есть они когда к нам шли, это было нормально, а мы когда к ним, это для них было как-то странно.

То, откуда человек, ещё было видно по одежде. И было нормально спрашивать: *Ost-Berlin oder West-Berlin?*¹ Прямо так и спрашивали. И если «не совпадало», то мог появиться страх или недоверие с той стороны... К сожалению, они действительно имели повод чувствовать себя людьми второго класса. Увы, некоторые западные берлинцы к ним действительно так относились. Мне многие рассказывали потом, что им иногда конкретно в лоб говорили: вы из Восточного Берлина, что вам здесь надо? Давали им понять, что они вообще никто.

А в самом городе, на востоке, всё было буквально в руинах. В районе Пренцлауэрберг вообще было страшно под

¹ Восточный Берлин или Западный Берлин?

окнами ходить, балконы могли просто обрушиться, упасть на голову. Как люди там жили, представления не имею.

Про Берлин часто говорят, что это один из свободных городов мира. Это сейчас. В те же времена было не так. Западный Берлин фактически был всегда свободным. Стена стояла, но это была стена для гэдээровцев. Мы могли всегда ехать туда, куда мы хотим — не буквально всюду (например, в СССР нас не впускали), но всё же. И её, Стены, падение ознаменовало начало свободы именно для жителей востока.

Жива ли Стена сейчас? Для некоторых да, для некоторых нет, а для некоторых специально нет. Такие люди хотят эту часть истории вычеркнуть, как будто её никогда не было. Но немцы до сих пор делят друг друга на западных и восточных. Многие считают, что и ментальность разная, и даже в некоторых городах ещё чувствуется, что это была ГДР. Во многом так оно и есть.

Молодёжь так не думает, в частности, те, кто родились после падения Стены, если родители им не навязывают мнение, что западные немцы — нехорошие. Например, у моих детей этого в голове нет, им не понять, что существуют восточные и западные немцы. Для них существует один Берлин, одна Германия. История Стены их не так захватывает, что меня не радует. Русским они владеют, но когда я им что-то пытаюсь рассказать, они отнекиваются. Говорю: «Давай я покажу фотографии, у меня есть книги о том и этом». — «О, не надо, всё и так понятно!»

Но мне кажется, что ещё и власти ответственны за это — они убрали с улиц слишком много истории. То, что могли бы оставить в виде музея, «в назидание». Можно было бы сохранить вышки для солдат — как исторические объекты. И лучше бы, конечно, не в таком туристическом виде, как на *Checkpoint Charlie*... Ведь остались буквально считанные места, где Стену ещё можно увидеть, а кто-то всё-таки интересуется историей.

Падение Стены было главным, что тут произошло. Всё поменялось полностью, вся жизнь. И вскоре это все ощутили на себе. Были позитивные изменения — возможность передвигаться внутри Германии без границ. Но были и другие последствия. Например, у нас на работу начали принимать женщин из Восточного Берлина, потому что это тогда получалось дешевле

для работодателя, который ещё и получал дополнительные деньги от государства за это. Прежних работниц увольняли. Начиналась вражда, проявлялась ненависть. Я тоже от этого пострадала: когда я в первый раз ушла в декрет, на моё место взяли трёх учениц именно из Восточного Берлина. А когда я была готова вернуться, мне начальница прямо сказала, что на эти деньги, которые она должна была мне одной платить зарплату, она может содержать трёх человек. Но у неё было право меня уволить...

...Раньше я хотела жить в Италии, иногда — в Израиле, но всё это были скорее подростковые мечты и желания. О том, что мы не оказались в Австралии, я не жалею, это всё-таки слишком далеко. А прочие города и страны... Когда приезжаешь в другие места как турист, всё красиво. Но не знаю, было бы мне где-нибудь лучше, чем в Берлине. В итоге хорошо, что я здесь оказалась. 

Наталья Лаврова: Мы, дети, думали: если война, придётся отстреливаться

Я из семьи военного, отец служил в медицинских войсках. Когда меня спрашивают, откуда я, я отвечаю: из России. И даже больше: из Томска. Хотя я там даже не жила — буквально через пару месяцев после моего рождения папу отправили в Комсомольск-на-Амуре. А в Восточном Берлине, в Карлсхорсте, мы жили с 1986-го по 1991-й годы.

Мы приехали в Берлин, и я сразу пошла в первый класс. В силу работы отца переезды были для нас обычным делом. До того он пять лет, это обычный срок, служил в Чехословакии, мы жили в Праге, но те реалии я помню только совсем фрагментарно — какие-то музеи, детсад (кстати, мы ходили в чешский садик), но не нашу повседневную жизнь. К тому же я тогда в силу возраста была изолирована от общества.

Так что никакого волнения от переезда в новую страну не было. Хотя, конечно, те, кто уже наоборот пожил в Германии, что-то нам рассказывали, а дети показывали игрушки, которые мы не видели. Но в целом разницы не было никакой — Чехословакия, Германия... Просто переезжали.

Более-менее отчётливо я себя помню класса со второго. Тогда пришло понимание, что мы живём в чужой стране. Хотя моя мама немка, но «советская» немка. Я росла русской девочкой, так воспитывалась. Никаких ассоциаций с немцами у меня на тот момент не было — да и потом именно ассоциаций не возникало.

Немецкий как язык общения мне тогда был не нужен, в Берлине я училась в русской школе, вокруг были только русские дети, так как мы жили в военных кварталах, а для покупок булочек в магазинах хватало десяти немецких слов. Кроме того, нам было просто нельзя общаться с немецким населением. Это очень строго регламентировалось, кто нарушал — тех высылали. Так что с немецкими детьми мы не контактировали, и

даже об этом не думали. Хватало своего круга. А моя мама общалась — мы католики, она в католических храмах общалась с другими семейными парами. На это она получала специальное разрешение. Но и нельзя сказать, что мы жили в каком-то гетто: были дома́, где жили только военнослужащие, а дальше уже был квартал чисто немецкий. То есть нас никак в прямом смысле не огораживали.

Топили мы углём, и для нас это было nonsensom: даже в Сибири, откуда мы родом, было центральное отопление, а тут приходится жить с печкой. Но как-то приспосабливались. Были на улицах запах от печек? Не помню.

На красоту города внимания я не обращала. Помню, что на улицах было очень чисто, это меня удивляло. Или вот: молочник утром привозил ящик с молоком, оставлял их, и те, кому было нужно, брали бутылку, а под ящик клали деньги. И всё это работало, и никто никогда не думал, что можно взять бутылку и просто уйти.

О политической ситуации в школе совсем не говорили. Проходили только школьную программу. Возможно, со старшеклассниками проводились какие-то беседы — думаю, в основном о том, что какие-то вещи делать нельзя. Но в младших классах подобные темы не затрагивались никак. Мы учились как в Советском Союзе. Как будто просто взяли и обычную советскую школу просто перенесли в другую страну. У нас были русские учителя — кстати, моя мама тоже преподавала в нашей школе, математику и физику. Но не у меня.

Дома, конечно, говорили и про ФРГ, и про ГДР. Эти темы возникали из-за того, что у нас уже были эмигрировавшие родственники в западной части, по маминной стороне, и надо было с ними как-то поддерживать связь — иногда через католического священника. Обменивались письмами через него, например. Лично связаться с ними было невозможно. Но зато у нас принималось западное телевидение, мы видели, что происходит на западе, видели всякую рекламу...

Мои родители не склонялись ни в какую из сторон. Разорваться они не могли, а политических убеждений у родителей не было. И попасть на Запад было нельзя — ни кратковременно, ни постоянно. Кроме того, моя мама как немка была под особым контролем.

Рядом со Стеной мы просто ходили, гуляли. В туристических целях. Мы хорошо понимали, что с тех позиций на Запад никак не попасть. Если бы мы захотели, нам пришлось бы выехать назад, на родину, и уже потом обычным путем эмигрировать. На тот момент такая задача не стояла. Лично мне на тот момент всего этого не хотелось, хотя я не понимала, почему туда можно, а сюда уже нельзя? Разделение города я понять не могла. Мы же ездили в Чехословакию через Польшу, и возникали вопросы: по этим странам ездить можно, а по другим нельзя? Как так? Но по ГДР мы, конечно, путешествовали, старались много смотреть. Мои родители оба с высшим образованием, интересовались культурой, старались нам это прививать.

Конечно, я сама не могла ощущать, что что-то происходит, что-то готовится, что-то назревает. Но вдруг всем военным, моего отца включая, приказали оставаться дома. Изолировали. За день до событий офицерам выдали табельное оружие, они патрулировали наши дома. Нам не рекомендовалось выходить на улицу — думаю, потому что никто тогда не понимал, где что будет происходить. В наших кругах царил большая настороженность: никто не знал, как будут относиться к советским военным, опасались агрессии. Иногда на стенках писали: *Russische Schweine raus!*¹ Хотя лично я этого на своём опыте не ощущала. Да и родители ничего подобного не рассказывали — хотя, может, они хотели нас оградить от этого. Другие дети рассказывали, что кто-то за ними бежал и кричал именно такое. Но в Германии меня подобное обошло стороной. Был один случай в Томске, уже после Германии, мы туда приехали на очень короткое время, и какая-то бабулька на базаре мне сказала: «Я фашистам не продаю ягоду»... Но подобного больше не происходило.

А в тот день, в те дни царили неизвестность и непонимание того, что происходит. Информации не было. То есть, конечно, мы слышали, да, Стену разрушили, она пала. Но мы не представляли, что будет завтра. Взрослые были очень взволнованы — неизвестность пугает. Мы со старшей сестрой спрашивали: «Что происходит?» Нам отвечали общими словами: «Стена разрушена, Германия решила воссоединиться».

¹ Вон, русские свиньи (нем.).

Говорили нам об этом родители, в школу мы в те дни не ходили. Вся эта ситуация продлилась дней пять. Кажется, даже ввели комендантский час, пока всё не прояснится.

У каждого из нас, у меня и сестры, были свои переживания в рамках детского мышления: что дальше будет? А вдруг война? Мы, дети, собирались в подъезде, вырисовывали себе какие-то сценарии, чтобы чем-нибудь заняться. Думали: если война, надо здесь отстреливаться. Хотя надеялись, что придут солдаты и нас защитят. Страх присутствовал, мы же чувствовали волнение взрослых. И сам факт, когда приходят домой родители с оружием и говорят, что никуда не нужно выходить, настораживает и пугает.

А когда спало напряжение, где-то через неделю, вдруг закрыли все магазины. Просто на выходные. А с понедельника их открыли уже с западными товарами. Завезли полные склады. Но денег не было, конечно. Как менять западную валюту, никто не знал. Все тратили всё, что было, но было очень мало. Мы ходили, глазели на витрины с открытым ртом, Барби видели, например. Всего этого в ГДР не было. Мы, дети, сдавали бутылки, чтобы хоть что-нибудь купить. А взрослые брали продукты и товары в долг, в том числе в военторге, до того момента, как поменяют деньги, восточные марки. Но никто не знал, когда это случится.

Весной 1990-го за нами приехали родственники на машине, отвезли нас к себе в гости в Вольфсбург. На шоссе, на автобане, увидели супермаркеты — сразу почувствовали колоссальную разницу. Настоящее изобилие. Разница была даже между СССР и ГДР, а здесь... И это всё такое яркое, везде сверкает реклама. Какое-то совсем «западное» в нашем понимании. Но в силу возраста разницу в людях, в общении с ними я не замечала — речь о взрослых. А с детьми наоборот. Вскоре после падения Стены мы поехали в детский лагерь, и там были ребята из Западной Германии. Так они более охотно шли на контакт с нами, с русскими. Язык? Как получится. Кто-то знал слово на немецком, кто-то — на английском, что-то для пояснения рисовали. Но общий язык находился как-то.

Уезжать из Берлина мы не хотели, нам было грустно. Нас выводили в Белоруссию — совершенно в непонятную стра-

ну. Мы планировали остаться здесь, но командир части тогда просто поставил нам в паспорта такой штамп, который сделали их недействительными, хватило только для выезда. Командир знал, что мы хотим здесь остаться — но нам пришлось уезжать. И вернуться мы смогли только через три года, в 1994-м. По плану должен был уехать один папа, уволиться из армии, а потом снова въехать. Но с недействительными паспортами, конечно, это было невозможно. Так мы оказались в непонятной стране, в непонятном городке — Борисове, под Минском. Нас поселили в каком-то общежитии...

В девяносто четвёртом мы вернулись и обосновались в городе Лемго, между Ганновером и Дортмундом. Папы не стало совсем недавно, мама живёт там. Мы были очень рады вернуться сюда. Для нас даже Чехословакия отличалась от СССР, а Германия уже стала почти домом. Я училась в седьмом классе, и тогда у нас была очень большая толпа приехавших, включая русских немцев. Тогда все местные тоже были в шоке: куда же они едут? И вот в школах организовали такие же интеграционные классы, *Willkommensklassen*², и мы там подтягивали язык. Вскоре я попала в больницу, и меня отправили на курорт, на остров Зюльт, где я провела четыре недели без малейшего словаря и ни с кем не общаясь на русском. Назад я вернулась уже говорившим по-немецки человеком.

А меня потом потянуло назад в Берлин, это был уже мой осознанный выбор. Здесь я могла развиваться, возможностей, конечно, здесь гораздо больше, чем в Лемго. В этом плане Берлин для меня — город свободы, которую маленький город не даст никогда. Но важно найти не только свой город, но ещё и свой район. Я живу в Шарлоттенбурге, и я не знаю, смогла бы в каком-то другом берлинском районе прижиться так, как здесь. На Востоке, например, хотя я там и жила в детстве. Или в богатом Далеме — там слишком тихо. Но в осознанном возрасте мы всё воспринимаем по-другому. В Берлине каждый район дышит своей жизнью. Его, свой район, надо найти, и тогда ты будешь здесь счастлив. Мне кажется, если попасть куда-то не туда, город тебя может съесть, ты просто провалишься в депрессию, и для тебя Берлин будет самым ужасным городом в мире.

² Классы для недавно приехавших в страну иностранцев.

..Хотя я живу в Берлине, в том районе, где я провела детство, я была только один раз. Однажды ко мне сюда приехали из Лемго родители и мы съездили туда, в Карлсхорст. Военная часть сейчас заброшена. Дом, в котором мы жили, ещё стоит, его отремонтировали, к нему пристроили балконы, там по-прежнему живут люди. Было очень интересно всё увидеть, однако особых переживаний у меня не было. Единственное интересное — раньше наш микрорайон казался таким большим, чуть ли не целым городком! А сейчас вижу, что это всего шесть-восемь домов рядом. Больше мы туда не ездили.

Ольга Райзер: Я считала, что всё происходящее — дальнейший процесс развития

В Германии я оказалась в 1981 году как студентка одного из московских вузов. Наш институт участвовал в студенческом обмене, и я, имея хорошие оценки и пройдя определённый конкурс, получила возможность поехать в Берлин на учёбу. С моего курса из параллельной группы одна студентка поехала в Лейпциг, а я и ещё одна девушка оказались в Берлине. Мы учились четыре года в университете Гумбольдта, это назвалось *Vollstudium*, полный курс обучения. За это время я познакомилась со своим будущим мужем, потом вернулась после окончания учёбы в Москву и оформила выезд на постоянное место жительства в ГДР. Ждала недолго: вернулась летом 1985 года, а в декабре уже переехала окончательно. За полгода оформила все документы, снялась со всех учётов, так как с иностранным языком я ещё числилась в военкомате. У меня даже какое-то звание было... Особых проблем не было, но были и неприятные моменты — пришлось выслушивать какие-то нравоучения — несколько человек за большим столом расспрашивали меня, что-то говорили. Так что с официальной стороны Советского Союза я рассталась без сожалений.

До учёбы я уже бывала в ГДР — мы с родителями приезжали в гости к коллеге моей мамы, мама работала в Москве в немецкой газете, знала немецкий язык и, наверное, расположение, интерес, любовь к немецкому языку я взяла от неё. Дома у нас всегда были немецкие журналы, газеты, книги. И для меня было само собой разумеющимся, что я буду учиться на факультете германистики.

Когда я приехала на учёбу в ГДР, мне было девятнадцать лет, и я была как личность ещё в процессе формирования, я была как губка, которая впитывала в себя всё новое, и это новое не казалось чем-то чуждым, неправильным или странным. Всё

казалось положительным и интересным. Мне почти всё нравилось, я чувствовала себя здесь очень комфортно. У нас был неплохой коллектив советских студентов, за нами ненавязчиво присматривало посольство, контакты были и с другими иностранными студентами. Были, конечно, и дискотеки, и поездки, и экскурсии, ну и сама учёба была интересной... Жили мы в общежитии рядом с *Ostbahnhof*, на Франц-Меринг-плац. Те две башни, по-моему, до сих пор являются общежитиями Гумбольдтского университета.

Однажды на ноябрьские праздники советское посольство вывезло нас в Западный Берлин, на возложение венков к советскому монументу по ту сторону Брандербургских ворот. Была торжественная часть с речами, а потом мы с разрешения прогулялись немного, пофотографировались. У всех, конечно, были мысли: «А если я сейчас побегу в другую сторону — что будет? Начнут стрелять?» Ну, посмеялись, вернулись в автобус — и всё, поехали назад, в восточную часть. За время того визита ничего, кроме площади, парка и военных я не увидела.

Когда я уже жила в Восточном Берлине на постоянной основе, на Запад я не ездила. Во-первых, это было непросто, а во-вторых, я работала во внешней торговле, и давала подписку, что у меня и у мужа нет родственников на Западе. Съездить туда было бы очень интересно, но нарываться на проблемы не хотелось — если бы я попробовала оформить официальную поездку, наверняка об этом сообщили бы на мою работу, меня могли куда-то вызвать, задавать какие-то ненужные вопросы... Я знала, что когда-то я всё равно там побываю. К тому же, в то время мои дети ещё были совсем маленькими, мне, честно говоря, было просто не до того. Так что по-настоящему в Западном Берлине я побывала только после падения Стены.

Центральное отопление в Берлине было тогда в новостройках, в старых домах в основном топили печки — и это производило довольно мрачное впечатление. Когда мы ходили в гости к друзьям, жившим в старых квартирах, то, чтобы сходить в туалет, приходилось выходить из квартиры на холодную лестницу и спускаться или подниматься на половину этажа. Ванн в таких квартирах не было. В Москве я такого, то есть печного отопления, никогда не видела. У моей бабушки

на Сретенском бульваре не было ванной, но отопление всегда было центральное. А тут приходилось не просто топить, а ещё и запастись углём, покупать его, хранить...

После того, как я переехала в Берлин, мне нужно было найти работу. Но квартира у нас уже была — к счастью, с центральным отоплением и ванной. Я считала: лучше жить подальше от центра, но с отоплением, чем в центре в старой квартире с углем. А потом жизнь пошла своим чередом, я работала, появились дети, и большого количества времени на раздумья «а что бы такого сотворить необыкновенного» не оставалось.

Мы жили в Марцане, в Аренсфельде. Сейчас я там почти не бываю. В 1998 году мы переехали за черту города. Первые годы после переезда — да, навевались в гости к бывшим соседям. Изменения были заметны почти сразу. Стало больше мигрантов, включая и из бывшего СССР, больше дешёвых магазинов. Потом укоротили 11-этажные дома до шести этажей, сделали улучшенную планировку квартир с большими кухнями и террасами. Красиво. А теперь, похоже, свободных квартир там уже тоже нет, кто туда заезжает — не знаю...

В ГДР я работала на Александерплац, в здании *Haus der Elektroindustrie*, Дом электропромышленности. Там находились предприятия, которые работали на экспорт, в том числе и министерство внешней торговли. Всего я проработала там почти четыре года и за это время два раза уходила в декрет. После объединения Германии многие предприятия на Востоке стали закрываться, но к тому времени у меня уже было много контактов, и меня пригласили на работу в одну фирму, которая занималась экспортом в СССР, связи оставались, оборот был большой. Я перешла туда, и осталась буквально в том же здании, просто на другом этаже. Потом и они были вынуждены закрыться, часть работы взяла на себя одна швейцарская фирма, куда меня тоже пригласили... Так что в те годы я работу меняла довольно часто — но не по своей воле.

Кстати, я не любительница ходить на демонстрации, и в Москве никогда не ходила, и здесь, потому что считала, что мои выходные, суббота и воскресенье, принадлежат мне и семье. И поэтому, когда в ГДРовское время нашему предприятию нужно

было ходить на майские и на октябрьские демонстрации, я всегда говорила, что у меня маленькие дети, и я не уверена, смогу ли я прийти. Если ничего не случится, то, может быть, я приду. Но никогда, ни разу не приходила, за что мне в вербальной форме давали понять, что это неправильное поведение. Но с этим жить было можно. А сами демонстрации проходили по Карл-Маркс-аллее, нужно было двигаться мимо трибуны, где стоял Хонеккер, другие члены правительства. Трибуны стояли там, где сейчас *Kino international*.

Я не чувствовала себя в Берлине ни чужой, ни «укоренившейся». Просто не задумывалась о таком, решала каждодневные проблемы, и на размышления не оставалось времени. Но ГДР, как многие знают, была довольно-таки закрытой страной и, если кто-то на улице говорил на иностранном языке, прохожие, конечно, смотрели, поворачивались. В Западной Берлине, в Западной Германии это было нормально, это не вызывало никакого интереса. А в ГДР, действительно, люди реагировали иначе. Тем не менее, на момент объединения страны я была уже интегрирована в немецкую среду. Ходила на немецкую работу, пользовалась тем, чем и другие семьи, общалась с немецкими друзьями и коллегами — хотя среди моих знакомых были и «наши», некоторые студенты заключили здесь браки, остались тут, с кем-то мы общались семьями, ко мне в гости приезжали родственники...

Враждебного отношения к себе из-за того, что я «русская» или «советская», я тоже не чувствовала. Может быть, из-за того, что я вела себя довольно-таки уверенно, да и новичком в ГДР не была. Но мне очень завидовали, когда мы с мужем получили большую новую трёхкомнатную квартиру — как я говорила, с ванной и отоплением. Вдвоём, ещё не имея детей. У меня была коллега с двумя детьми, и они жили с печным отоплением в двухкомнатной холодной квартире. Знаю, что она нам завидовала. А нам это удалось благодаря тому, что моему мужу должны были дать двухкомнатную квартиру, чтобы меня выпустили к нему из СССР, но двухкомнатных квартир в наличии не было. И его спросили: у вас есть планы на детей? Он ответил, что да, и ему выделили трёхкомнатную. То есть по сути власти пошли нам навстречу и дали больше, чем должны были.

Контактов со спецслужбами лично у меня не было. Но у меня была коллега, болгарка, её муж был сотрудником штази, и она мне рассказала, что на каждого иностранца в ГДР было заведено досье. Наверняка существовало и на меня. Я всё думала: найти его или нет, прочитать или нет. Может быть, я узнаю, что те люди, которые мне были тогда и сейчас близки и дороги, вели себя не всегда порядочно. Это нарушило бы наши отношения. Я ещё не решила, хочу я этого или нет.

Какие-то грядущие перемены ощущались. Во-первых, по телевизору показывали демонстрации. Кроме того, я общалась с коллегами и знала, что у одной из них сын ходил на эти демонстрации и посещал Гефсиманскую церковь, *Gethsemanekirche*, в районе Пренцлауэрберг. Коллега рассказывала, что участников задержали, забрали, где-то держали ночью, били по почкам, чтобы синяков не было... Кто-то рассказывал похожие истории. Чувствовалось, конечно, что так дальше нельзя и грядут перемены. Думаю, что это ощущалось везде, во всех слоях общества, но, возможно, кто-то об этом не говорил или не хотел это видеть, или, может, в семье о таком не говорили.

То, что произошло в тот самый вечер я помню, но совершенно в обыденном ключе. Я была вечером дома с детьми, вечера с ними всегда проходили довольно однотипно. Старшему было тогда почти три, младшей — год. На следующий день, как всегда, надо было их вести в садик. Работал телевизор, думаю, в тот момент шла *Aktuelle Kamera*¹, я ходила по квартире, видела на экране Шабовского², но не воспринимала до конца происходящее, потому что *Aktuelle Kamera* не была настолько захватывающей передачей. Кое-что услышала, потом вернулся муж и тоже сказал, что кое-что услышал. И только с утра, перед тем, как отвести детей в садик, я включила радио и поняла: да, граница открыта. Я поехала на работу, и тогда всё узнала из первых рук. К нам приходили в том числе немолодые люди,

¹ Информационная программа телевидения ГДР, выходила с 1952 по 1990 годы.

² Гюнтер Шабовски (*Günter Schabowski*; 1929–2015), политик, член Политбюро СЕПГ. О его роли в вопросе открытия границы между Восточным и Западным Берлином см. предисловие к рубрике.

клиенты, и в то утро у них на глазах были слёзы — они видели открытую границу. Коллеги рассказывали: у кого-то сын пошёл, у кого-то муж, и всё видели сами, всю ночь там ходили... Вот тогда я ощутила, что произошло действительно нечто грандиозное, что история делалась на моих глазах. Мы с мужем оба были рады тому, что произошло.

Поехать в тот же момент на Запад мы не могли — опять же из-за работы и детей. Но в ГДРовское время был так называемый *Hanshaltstag*³. При первой же возможности я его взяла, узнала, что есть бесплатная (для жителей Востока) экскурсия по Западному Берлину, и сказала мужу: это мой свободный день, мы едем туда. Утром отвели детей в садик и поехали к Чекпойнт Чарли. Это было в конце ноября или в начале декабря 1989 года.

Впечатление — очень много цветов. Хотя уже начиналась зима, цветов в магазинах было много и самих цветочных магазинов — тоже. Букеты, цветущие растения... В ГДР такого не было. Только астры и мимоза на Восьмое марта, но и её было трудно достать. Другое воспоминание — очень много рекламы, хотя я это замечала и раньше. Ну, естественно, другие машины, вывески другие, журналы, где на первых страницах — довольно-таки фривольные фотографии, в ГДР такого тоже не было, был, может быть, выпускался один журнал подобный, и его мигом расхватывали.

С западными берлинцами в тот раз я практически не общалась, конечно, это всё-таки была короткая экскурсия. Но на своей работе я имела достаточно контактов с представителями фирм из Западной Германии, Западного Берлина. Конечно, они были другие люди, это понятно. И по манере общения, и по своему облику, и по интонациям они себя подавали совсем по-другому. Ментальность, мне кажется, была совсем другая.

Ещё к вопросу о различиях. Ещё в университете я писала работу на тему «Особенности коротких текстов немецкого языка на основе объявлений». Эту тему я брать не хотела, мне было интереснее про конфронтативную лингвистику, но не по-

³ Оплачиваемый рабочий день, который можно было взять для семейных нужд. Почти всегда предоставлялся только женщинам.

лучилось, все эти темы отдали более слабым студентам. Я анализировала объявления, которые дают в газеты жители ГДР и Западной Германии. Я шла в государственную библиотеку, на Унтер-ден-Линден, где брала западные газеты (кстати, если я выходила из читального зала коротко по своим делам, я была обязана сдать газеты на стойку, я не могла их просто оставить на столе — вдруг кто-то одним глазом что-то там прочтёт?! Вернувшись в читальный зал, я брала их опять). Научный фокус внимания был связан с тем, что в объявлении, каждая буква которого стоит денег, человек нарушает синтакс предложения и даёт какие-то слова-сигналы, которые не всегда составляют предложение в общепринятом плане. Поэтому подающий объявление сообщает о себе то, допустим, что считает для себя наиболее важным. И я обратила внимание, что в более провинциальной Саксонии женщина писала: «Ищу мужчину. Я очень чистопахотная, хозяйственная, люблю готовить» — главное о себе. А в Берлине женщины были всегда более эмансипированы. Но, естественно, это противопоставление не «восток — запад», а «большой город — провинциальный город».

Взаимной интеграции Восточного и Западного Берлина не было. Для западных берлинцев жизнь продолжала идти своим чередом, а восточным всё пришлось начинать сначала. Сколько людей в моём кругу знакомых, соседей и коллег стали безработными, — никоним образом не будучи в чём-либо виноватыми. Да не по одному разу! И меня это тоже коснулось... Фирмы закрывались — и всё. Было обидно, но жизнь не всегда ведь справедлива.

Тем не менее, я не считала, что моя жизнь свернула куда-то не туда. Возвращаться в Москву не было и мыслей. Я считала, что всё происходящее — это дальнейший процесс развития. В те годы я была ещё молодая, знала язык, был опыт работы, в том числе переводческой, я со времён ГДР занимаюсь переводами. Я сама у себя в то время была не на первом месте, на первом всегда были дети. Если у них всё хорошо, то и у меня, естественно, тоже всё хорошо. Конечно, иногда было непросто, но я не носила это долго в голове. Долго без работы никогда не была, пособия типа *Hartz IV* никогда не получала. В течение года училась на

референта по европейскому сообществу, было очень интересно, опять же — новые знакомства... Я вижу многое в положительном свете. Может быть, мне это и помогает.

Пожелала бы я себе другой судьбы? А мы разве её выбираем? Никто не знает, какие у нас альтернативы. Всё сложилось хорошо, у моих друзей тоже, и у тех, кто вернулся в Россию, и у тех, кто остался. А мы всерьёз не думали о переезде даже в другой город. У мужа на западе были дальние родственники, мелькали мысли переехать под Ганновер куда-то — после объединения. Но не хотелось начинать всё с начала на новом месте.

Мои дети, конечно, более чем наполовину немцы. Хотя я бы сказала, что даже скорее космополиты. Язык у них родной всё-таки немецкий, хотя и русским хорошо владеют, даже пишут неплохо. Но те времена им не очень интересны.

Берлин — мой дом, я прожила здесь большую часть своей жизни. Поэтому мне сложно посмотреть на него со стороны. Когда живёшь где-то очень долго, многое воспринимаешь не так, как это преподносится со стороны. Конечно, я читаю немецкие газеты, я понимаю, что там пишут про Берлин для туристов, и как люди реагируют... Но это чуть иной взгляд. Хотя, конечно, это город с особой историей. И я чётко вижу, что поменялось с ГДРовских времён.

Стена и сейчас жива. По крайней мере, во многих головах она ещё существует. В первую очередь это выражается во взглядах людей на жизнь. Ведь судьбы многих были поломаны. Например, Маргарет, моя бывшая соседка. Она окончила Высшую партийную школу, начала работать в горкоме партии. А после объединения ей аннулировали учёбу, не признали высшее образование, потому что партийная тема, марксизм-ленинизм исчезли из повседневной жизни. То есть человек просто остался без образования, как будто окончил школу — и всё. Профессиональная жизнь оказалась перечёркнутой. Так что люди, которые ни за что ни про что пострадали, конечно, винят с своих бед объединение Германии. По их мнению, с ними судьба поступила несправедливо. Когда на востоке говорили *Wir sind ein Volk*, на западе вскоре стали отвечать: *Wir auch*⁴. К

⁴ Мы — один народ... Мы тоже (нем.).

сожалению, в экстремальных ситуациях не все люди реагируют так, что могут найти в себе силы и идти дальше вперёд. Есть люди слабые, которые падают, не могут сами подняться и ждут помощи. А нужной помощи всем не смогли оказать. Человек остался там, где он упал.

А эйфория быстро прошла даже на Западе, например, после того как ввели обязательный специальный налог солидарности, *Solibeitrag*, на восстановление ГДР. Если вы спросите кого-то из Западной Германии о пенсионном обеспечении бывших ГДРовских жителей, то на Западе все считают, что это идёт из их копилки — что не совсем так, в ГДР ведь тоже была некая основа... Но я всё равно считаю, что объединение страны — благо. К сожалению, лес рубят — щепки летят. Отдельные судьбы пошли не в то русло. Моя, к счастью, нет — я сама гребла, у меня были силы. Но не все оказались такими. 

Герд Буссинг: Падение Стены стало опытом освобождения

Окончательно я переехал в Берлин в 1970 году, так как нашёл здесь хорошую работу. Я родился на западе, в Восточной Вестфалии, вырос в маленькой деревне между Ганновером и Билефельдом, где ходил в школу. Учился я в разных других местах, но здесь, в Берлине, я почувствовал себя очень хорошо.

Поначалу у «западных» немцев были определённые привилегии. В частности, можно было пройти со специальным пропуском, *Passierschein*, в Восточный Берлин, а позднее и совершить однодневную поездку в ГДР. Всё это я неоднократно делал. Но дело в том, что у меня не было родственников ни в ГДР, ни в Восточном Берлине, поэтому для меня не играло такой большой роли то, что я мог легко туда попасть. Я понимаю, что берлинцы, у которых были родственники по ту сторону, переживали нечто гораздо большее. Тем не менее, когда появилась возможность ездить куда угодно без затруднений, это стало облегчением во всех отношениях.

Понимал ли я, что живу фактически на острове? Да, конечно, это был остров. Но этот остров также имел своё очарование. Здесь была насыщенная культурная жизнь на всех уровнях: от театров и концертов до культуры баров и пабов — да, это по сути субкультура, но и она может быть культурой. Скучать мне здесь не приходилось, мне всё нравилось, хотя я в то время был не очень политизированным человеком, а скорее культурно ориентированным.

Тот вечер, когда всё произошло, я не помню. А о самом факте случившегося, что граница на практике открыта, я узнал у себя на работе. Я работал в сфере СМИ, руководителем архива, и мы всегда были очень хорошо информированы о состоянии дел. Мы знали, на каком этапе находятся общественные дискуссии, — знали намного лучше, чем кто либо ещё, и лучше, чем можно было бы узнать непосредственно из прессы. Это была наша тема. И я помню, как зашёл наш начальник — это было на следующее

утро, сразу после открытия границы, когда первые люди уже оказались на Западе, — и он сказал: «Да, если всё действительно так, то граница — это уже история, и, вероятно, наступает конец ГДР».

Помню я и то, что через день или через два ко мне в гости пришёл мой знакомый кореец. Конечно, ему было очень любопытно, что здесь происходит. Я привёл его к Стене, мы наблюдали за тем, как работают так называемые «мауэршпехты»¹, как падают вниз камни. Потом я показал ему Берлин и познакомил с другими людьми. Мой знакомый был всем очень впечатлён, к тому же темы воссоединения и разделения, конечно, интересовали его и как корейца.

Потом у меня появилось много контактов, которых раньше не было. И так как я всегда занимался языком эсперанто и участвовал в движении эсперантистов, могу точно сказать, что наши друзья по языку тогда начали массово приезжать к нам — а раньше у них такой возможности не было. При этом нас, так называемых *Wessis*, раньше не с такой радостью встречали на встречах эсперантистов, и штаци за нами следила. А теперь всё стало так легко — просто ошеломляюще. Мы провели традиционный ежегодный эсперанто-праздник в декабре, и на него внезапно собралось более ста человек. Такого раньше не было.

Но, как я уже сказал, я хорошо понимал, что паспорт Западной Германии давал определённые привилегии, и его обладатели могли делать то, что для восточных берлинцев было недоступно. Так что все эти события были для меня приятны, но радикально мою жизнь не поменяли, хотя, конечно, и для меня падение Стены стало опытом освобождения.

Выезд из Западного Берлина в ФРГ также был беспроblemным, и это для меня было довольно важным, так как тогда мои родители ещё жили в Западной Германии. В 1970-х годах благодаря специальным договорам, заключённым в рамках *Ostpolitik*, можно было свободно ездить на железной дороге без

¹ *Mauerspecht*, дословно — «дятлы стены». Этим словом называли людей, которые занимались непосредственно разрушением Берлинской стены, не являясь при этом нанятыми рабочими. Среди «дятлов стены» были охотники за сувенирами, торговцы, художники, акционисты и политические активисты, для которых было важно поучаствовать в разрушении Стены.

особого контроля, проверяли только паспорт и записывали фамилии путешествующих. Всё это было за счёт правительства ФРГ.

Долгое время мы все думали, что такое положение — два немецких государства — будет сохраняться неограниченно долгое время. Люди уже начали приравниваться к такому. К примеру, Вилли Брандт, канцлер ФРГ, часто говорил: нужно признавать действительность. Но всё равно цель объединения страны постоянно оставалась, пусть она и была далёкой — хотя благодаря политике Брандта этому процессу в целом был дан импульс.

Перемены наступали медленно. Вначале всё шло более-менее так же, как и прежде. Затем многие переехали в Западный Берлин из ГДР или из Восточного Берлина. А сам объединённый город стал привлекательным даже с западной точки зрения. Берлин надолго оказался в центре внимания. Особенно изменилась атмосфера в городе. Так что лично для меня всё это стало позитивными переживаниями и воспоминаниями. 

Ханнелоре Корн: Мне всегда было страшно на границе

Я родилась в Берлине, в районе Вильмерсдорф, у Халензее. В день начала возведения Стены я была одна дома — мама и остальные члены семьи были в отпуске. Позднее мама позвонила мне. Она беспокоилась обо мне и сказала: «Приезжай к нам сюда, на Северное море. Уезжай из Берлина, если это станет опасным». Но на Западе всё было относительно тихо, поэтому я осталась в Берлине.

Мы, конечно, оказались «западными» берлинцами, но мы могли поехать на машине или на поезде в Западную Германию. Проезд через «зону», как мы называли ГДР, иногда был быстрым, а иногда у пограничников народной полиции, *Volkspolizei*, сокращённо *Vopos*, было плохое настроение, и мы оставались в машине часами, не зная, что происходит.

У моей мамы были родственники в Восточном Берлине — тётя и двоюродный брат. А с нами жила моя бабушка. Она умерла в 1960 году, и, конечно, на её похороны пришли все, включая тех, кто потом оказался на Востоке. Уже год спустя это было бы невозможным... После появления Стены долгое время мы не могли увидеться, навестить тётю и брата. Потом такая возможность появилась. Мы, западные берлинцы, могли провести на востоке один день, самое позднее в полночь требовалось вернуться. Если была виза, разрешалось остаться в Восточном Берлине на более длительное время. Вокзал Фридрихштрассе был нашими воротами на Восток, хотя были и другие переходы. Мне всегда было страшно на границе. *Vopos* иногда были милыми, а иногда и там приходилось стоять и ждать часами, пока тебя пропустят.

Помню, что у меня однажды оказалась записная книжечка с собой. Она заинтересовала полицию Восточного Берлина. Меня отвели в отделение, где полицейские полностью скопировали все адреса и телефоны. Я была вынуждена несколько часов ждать разрешения пройти.

Нашим родственникам мы обычно приносили небольшие подарки. Больше всего они были довольны зерновым кофе — на Востоке его не было. Родственники и нам что-то дарили, а на границе всегда приходилось открывать все сумки и показывать их содержимое. И вот, однажды я и мои брат и сестра получили в подарок по небольшому полотенцу. За эти полотенца мы должны заплатить таможенный сбор! Кто-то рассказывал, что в подобной ситуации заранее повязал полотенце вокруг живота и таким образом смог пронести его. А мама моей подруги однажды на Рождество купила двух гусей в Восточном Берлине. На границе у неё отобрали гусей со словами: «Ты забираешь у нас еду!» Её на несколько дней посадили в тюрьму...

В тот самый вечер я была одна дома. Включила телевизор. И там сказали: «Стена упала!» Я едва могла поверить в это. Просто не верила. Сидела и плакала, редела. Знала, что многие люди сразу поехали на Курфюрстендамм, где наконец состоялась встреча *Ossis* и *Wessis*. Радость была огромной.

Позднее мы с подругой были теми самыми «мауэршпехтами» — выбивали куски из стены при помощи молотков и прочих инструментов. Было довольно сложно, зато потом кусочки стены остались как напоминание о тех временах... 

Веертье Вилльмс

Современная русско-немецкая литература на примере романа Наташи Водин *Die Ehe*

За последние 15-20 лет заметной силой на книжном рынке Германии стали авторы ненемецкого происхождения, описывающие свой межкультурный опыт и плодотворно использующие его в литературных целях. Чаше других при этом на литературном рынке встречаются авторы «русского происхождения». Их произведения пользуются у немецкой публики большой популярностью. Корпус межкультурной литературы авторов «русского происхождения» успел обрести немалый вес и содержит богатое разнообразие тем и литературных форм. Для ознакомления с русско-немецкой литературой следует для начала представить ведущих авторов, рассказать, какое место они занимают на немецкоязычном книжном рынке и определить тематические и формальные тенденции. Затем будет представлен особый пример межкультурной литературы (текстов, написанных авторами, которые родились не в Германии и для которых немецкий язык не является родным)¹: роман Наташи Водин *Die Ehe* («Брак») опубликованный в 1997 году. Этот роман будет рассмотрен с точки зрения становления идентичности героини.

В 2017 году Водин произвела фурор своей книгой *Sie kam aus Mariupol* («Она родом из Мариуполя»). Роман о её матери, пережившей страшные события русской и немецкой истории

¹ Так как Наташа Водин родилась в Германии, данное определение может показаться неправильным. В качестве аргумента в пользу её причисления к межкультурным авторам можно, однако, привести тот факт, что она выросла вне немецкого общества, и её родной язык — русский. Кроме того, что более важно для научной категоризации, её тексты в любом случае являются межкультурными, так как в каждом тексте Водин так или иначе рассматриваются межкультурные конstellации — столкновения между своим и чужим.

XX века (революция в России, гражданская война, сталинские времена, принудительный труд в гитлеровской Германии, враждебные настроения («ресентимент») в послевоенной Западной Германии), был удостоен премии Лейпцигской книжной ярмарки и получил высокую оценку многих критиков. Написанный же ранее роман *Die Ehe* в своё время был обделён вниманием прессы и впоследствии не переиздавался. Существует несколько причин, по которым для анализа было выбрано одно из ранних произведений Наташи Водин, а не удостоенный всеобщего внимания роман «Она родом из Мариуполя». Можно сказать, что Наташа Водин принадлежит к числу пионеров межкультурной русско-немецкой литературы. Она с самого начала затрагивала в своих текстах темы, которым суждено было стать центральными для русско-немецкой литературы, и которые по сей день вызывают живой интерес читателей. Но в 1997 году, к моменту выхода романа «Брак», русско-немецкая литература ещё не заняла своих позиций на рынке немецкоязычных книг, её не любили так, как любят сегодня, соответственно, ей уделяли меньше внимания. Однако, рассмотрение ранних произведений автора поможет определить и проследить развитие центральных тем русско-немецкой литературы. И наконец, следует подчеркнуть, что, несмотря на высокое качество произведений Наташи Водин, её ранним текстам было уделено незаслуженно мало внимания.

Современные русско-немецкие авторы

Если вплоть до 1990-х годов в поле зрения немецкой общественности находились, прежде всего, авторы турецкого или итальянского происхождения, то с начала нового тысячелетия на немецкоязычном книжном рынке представлены, в первую очередь, авторы из бывшего Советского Союза. То, что их называют русско-немецкими авторами и говорят об их русском происхождении, на первый взгляд может показаться неправильным. Ведь многие из них не из русских, а из украинских, азербайджанских, грузинских или других семей, у некоторых из этих авторов еврейские корни, а старшие из них прошли процесс социализации в Советском Союзе. Независимо, однако,

от их этнической или географической принадлежности, все они социализировались в русскоязычной среде, в русской литературе и культуре. Именно поэтому понятие «русско-немецкие авторы» считается оправданным и смогло укрепиться в научной терминологии. Ниже перечислены самые значимые русско-немецкие авторы, получившие известность благодаря высоким тиражам, престижным премиям, положительным рецензиям или экранизациям: Алина Бронски, Марьяна Гапоненко, Лена Горелик, Ольга Грязнова, Нино Харатишвили, Элеонора Хуммель, Владимир Каминер, Дмитрий Капительман, Ольга Мартынова, Катя Петровская, Катерина Поладян, Юлия Рабинович, Нелля Веремей, Владимир Вертлиб, Наташа Водин.

Позиция на литературном рынке

Еще в 2004 году присуждение премии Генриха Клейста писательнице турецкого происхождения Эмине Севги Эдамар вызвало дискуссии относительно идентичности немецкой литературы. При этом обсуждался также вопрос принадлежности межкультурных авторов к немецкоязычной литературе. Несмотря на частично жёсткую критику, большинство сошлось на том, что литература авторов ненемецкого происхождения, для которых немецкий язык не является родным, не только принадлежит к немецкоязычной литературе, но даже делает её более интересной и стоящей. В новом поколении межкультурных авторов, вышедших на первый план примерно в 2000 году, многие услышали новый голос, обогащающий немецкую литературу. Именно тогда появился небывалый до тех пор живой интерес к текстам этих авторов как среди литературной общественности и публики, так и среди ученых.

Этот интерес сохранился по сей день и проявляется, к примеру, в том, что межкультурные авторы публикуются в таких крупных издательствах, как *dtn*, *Hanser* или *Subkamp*, о них часто пишут в прессе, их хвалят критики, их награждают престижными премиями. Примечательно, что самые значимые премии немецкоязычной литературы (такие как премия Ингеборг Бахман, Немецкая книжная премия или премия Лейпцигской

книжной ярмарки) в последние несколько лет неоднократно присуждались русско-немецким авторам.

Если мигрантское происхождение межкультурных авторов, публиковавших свои тексты в период времени между 1960-ми и ранними 1990-и годами, служило причиной для их вытеснения из литературной жизни, то сегодня иностранное происхождение наоборот подчёркивается и становится центральной составляющей маркетинговой стратегии. В то время, как роман Наташи Водин *Die Ehe*, как уже упоминалось выше, был почти полностью проигнорирован прессой, в 2017 году её книга с очень похожей тематикой получила премию Лейпцигской книжной ярмарки. А дебютные романы Алины Бронски и Ольги Грязновой вызвали настоящий ажиотаж. На примере двух последних авторов можно проследить, как пресса не только подчёркивает иностранное происхождение писательниц, но и буквально делают из них нечто экзотическое. Благодаря параллелям, существующим между биографией и литературными произведениями, эти тексты признаются особенно аутентичными и ценными.

Так, например, на суперобложке первых книг Алины Бронски, а также в многочисленных рецензиях снова и снова подчёркивается, что писательница выросла «на азиатской стороне Урала». Таким образом даётся отсылка к древнему образу России, который во времена политических кризисов использовался как образ врага. С образом России как государства, расположенного частично на азиатском континенте, всегда были связаны ложные представления о фундаментальной разности и варварстве, которые вызывали одновременно и страх, и скрытое восхищение. В годы холодной войны вплоть до 1980-х годов «азиатская Россия» была для Западной Германии не только самым лютым врагом, но и самой большой угрозой. В наши дни этот старый образ врага подвергается переоценке и становится центральным элементом стратегии продвижения молодой писательницы. Благодаря старому, укоренившемуся в коллективной памяти представлению, она воспринимается как в положительном смысле экзотический и достойный восхищения феномен.

Общие темы и формы произведений

При рассмотрении повторяющихся крупных тенденций в романах русско-немецких авторов становится очевидным, что они совпадают с актуальными темами современной немецкоязычной литературы в целом, но при этом добавляют свою особую межкультурную перспективу, которая воспринимается как увлекательная, наиболее аутентичная и не в последнюю очередь экзотическая. С 2000 года важными темами современной немецкой литературы становятся семья, поколения, идентичность, подростковый возраст, история Германии и история современности, еврейские темы, путешествия. В романах межкультурных авторов также часто описываются истории отдельных семей или нескольких поколений. Такие семейные саги одновременно рассказывают историю иммиграции и затрагивают всех членов семьи в нескольких поколениях. Конструкты идентичности представлены здесь в межкультурном контексте, вопрос идентичности часто связан с поездкой на историческую родину и поиском собственных корней. Вместе с реконструкцией семейной истории поднимаются вопросы современной российской, советской, русско-немецкой и еврейской истории.

На формальном уровне открывается широкий диапазон жанров и форм, но и здесь можно отметить некоторые тенденции. Прежде всего, нужно выделить сильно эстетизированные, с литературной точки зрения сложные и экспериментальные формы, такие как, например, роман Юлии Рабинович *Spaltkopf* («Расщеплённая голова», 2008) или *Sogar Papageien überleben uns* («Даже попугаи переживут нас», 2010) Ольги Мартыновой. Второй сегмент составляет юмористическая развлекательная литература, к которой относятся Лена Горелик (с её ранними произведениями) и Владимир Каминер. Они обходятся без экспериментальной формы, делают ставку на лёгкое чтение и на юмор как способ описания немецко-русско-советско-еврейских недоразумений. В-третьих, живым интересом пользуются в последнее время романы, которые уделяют особое внимание современной истории и подчёркивают свой документальный статус, используя настоящие документы. К ним относятся *Vielleicht Esther* («Может быть Эстер», 2014) Кати Петровской и «Она родом из Мариуполя» Наташи Водин.

Наташа Водин

Наташа Водин родилась в Фюрте в 1945 году, вскоре после окончания Второй мировой войны. Её родители были родом из Советского Союза. Во время войны их принудительно вывезли на территорию Третьего рейха с целью использования в качестве рабочей силы. При Сталине они не могли вернуться на родину, потому что там бы их преследовали как коллаборационистов. Но и в Германии они были «живыми напоминаниями о немецкой вине». Никто не пытался интегрировать этих людей в общество. Их поселили в отдельном посёлке подальше от общества большинства. Когда Наташе Водин было десять лет, её мать покончила жизнь самоубийством, после чего Наташа попала в приют для девочек. Окончив школу, она вначале работала стенографисткой и телефонисткой, а уже в 1970-е годы окончила школу иностранных языков, чтобы стать переводчицей с русского языка. Во времена заключения так называемых восточных договоров Наташа Водин была одной из первых, кто по поручению западногерманских фирм и культурных учреждений отправился в Советский Союз. После 1980 года Водин стала писательницей и начала получать многочисленные литературные премии. В своих романах она неоднократно обращается к темам, навеянным собственной биографией: межкультурная идентичность, чуждость, принадлежность/непринадлежность к обществу и тому подобное.

Роман Наташи Водин *Die Ehe*: вопросы идентичности рассказчицы — между русским происхождением и немецким обществом большинства

В романе *Die Ehe* повествование ведётся от первого лица. Действие происходит в 1950-70-е годы, описывается поиск идентичности молодой женщины русского происхождения, находящейся между русскими корнями и немецким обществом большинства. Решающим для поиска идентичности героини, находящейся под влиянием типичного для Германии того

времени образа врага и ресентимента по отношению к России и русским, является брак с немцем, в который она вступает с целью ассимиляции с немецким обществом большинства. Роман заканчивается поездкой в Россию, ставшей для героини символом перехода к новой, более стабильной идентичности, в которую войдут разные аспекты её личности, отражающие влияние двух разных культур.

После самоубийства матери безымянная героиня, она же рассказчица, живёт вместе с отцом в небольшом немецком городе, в гетто для иностранцев. Цель её жизни состоит в устранении ощущаемого ею самой дефекта происхождения путём заключения брака с немцем и последующей ассимиляции с немецким обществом. Её происхождение кажется ей ущербным, потому что она впитала в себя вражеский образ России, господствующий в общем дискурсе послевоенных лет в ФРГ. Самовосприятие героини полностью соответствует внешней оценке, основанной на глубоко укоренившемся враждебном восприятии России, как бывшего военного противника, и на ярко выраженном антикоммунизме:

Мои предки, и это я тоже понимала, были варварами, коммунистами, большевиками, самым антихристом. Так наша учительница в школе называла русских. Я была виновна в несчастье учительницы. [...] Я ненавидела своих русских родителей. Я не хотела быть их ребёнком. Я хотела быть ребёнком немецких родителей. Но стать им я не могла. Я могла стать только женой немца, это был мой единственный шанс².

Ввиду того, что идентичность героини основана на лжи и гипотезах культурализма, предложенных извне и беспомощно принятых ею под давлением обстоятельств, у её идентичности нет позитивного начала. Она отказывается признавать и своё русское происхождение, и своих родителей, которых винит в том, что немецкое общество отвергает её. Таким образом, она не только относится негативно к своим корням, но и полностью обрубает все связи с ними, отчего её ненависть к самой себе только растёт. В ходе своего дальнейшего развития она поймёт, что формирование стабильной идентичности невозможно без

² Здесь и далее фрагменты приводятся в переводе О. Хорн; цит. по: *Natascha Wodin: Die Elbe. Leipzig: Gustav Kiepenheuer, 1997.*

обращения к собственным корням. Но ей предстоит проделать долгий и нелегкий путь, прежде чем она придет к данному выводу. Семья немца Харальда Зикоры, с чьей помощью она надеется ассимилироваться с немецким обществом, всё ещё бредит национал-социалистской идеей о людях «высшей расы», и в итоге презирует героиню как русскую женщину. Причиной женитьбы Харальда на героине послужил в том числе его собственный недостаток. У Харальда нет одного глаза, поэтому он считает, что может жениться только на женщине, которая с его точки зрения тоже неполноценна:

Он был лучшим, на что могла рассчитывать я, а я была лучшим, на что мог рассчитывать он. Он смирился с моим недостатком, а я — с его. Это была наша сделка, таким образом мы были созданы друг для друга.

С психоаналитической точки зрения героиня подвержена навязчивому повторению³. Выходя замуж за Харальда, она сразу в нескольких отношениях повторяет свой травмирующий опыт: повторяется исключение из немецкого общества и социальная изоляция, ведь Харальд не христианин, а последователь секты, у него не немецкая фамилия, героиня прячет его от коллег, потому что стыдится его. Кроме того, повторяются травмирующие отношения с отцом и отсутствие любви, от которого она всегда уже страдала: Харальд находится в полной зависимости от матери и совершенно не поддерживает жену. И наконец, выйдя замуж, она вновь переживает обесценивание, которое чувствовала на протяжении всего детства. Эти паттерны демонстрируют, что путём ассимиляции рассказчица не может освободиться от своих психических переплетений, а наоборот всё сильнее запутывается в них. Всё её существование сводится к ожиданию начала настоящей жизни, которая отличалась бы её активным участием в жизни общества. Ведь её основное состояние — как до замужества, так и в браке с Харальдом — чувство непринадлежности, а любая форма социальной принадлеж-

³ Согласно Фрейд, навязчивое повторение — «более или менее непреодолимая тенденция человека к повторению ранее пережитых, неприятных, а отчасти даже болезненных и травмирующих событий» (Toman 1997:2551).

ти всегда зависит от милости работодателей, хозяев квартир и так далее, то есть в итоге снова представляет собой форму исключения и обесценивания. Рассказчица поглощена сильным чувством собственной неполноценности и недостаточности. Она постоянно сравнивает себя с другими и видит при этом только свои отклонения, свою вину и ущербность. Особенно к собственным ощущениям она относится со страхом и неуверенностью. Причиной тому служит не только её основное чувство вины и недостаточности, которое объясняется тем, что она вязнет в моделях мышления, основанных на культурном эссенциализме⁴, но и то, что она не знает культурных кодов, не умеет ими пользоваться, вследствие чего постоянно думает, что ведёт себя неправильно:

Мне было стыдно от того, что я этого не знала. Я боялась, потому что я этого не знала. Я не знала о немецком мире абсолютно ничего, у меня не было ни малейшего понятия о его правилах и законах. Я не знала также, было ли моё отращение к господину Кротцу нормальным или мне должно было быть стыдно за него...

Я снова не знала, как было правильно, как бы повела себя в этой ситуации немецкая девушка. [...] Я опять сделала что-то, не зная, что это означает.

Лишь слушая музыку, рассказчица не ощущает тех границ между собой и другими, которые она не в силах преодолеть в реальной жизни. Именно с походов в оперу начинается её эмансипация, освобождение от Харальда и от жизни, основанной на лжи. Главным толчком к эмансипации рассказчицы становится её знакомство с русскоговорящим профессором славистики Андреем и его студентами. Так она впервые воспринимает что-то русское положительно. Происходит это посредством языка и литературы. Под влиянием Андрея рассказчица начинает разбираться со своими русскими корнями и постепенно понимает, что её представления о Германии и России — искусственно сконструированные умозаключения, и что на самом деле она не знает практически ничего ни об одной, ни о другой стране. Если

⁴ Культурный эссенциализм (от лат. *essentia* — «сущность») — понятие, согласно которому культурные и социальные особенности человека являются врождёнными, существенными и не приобретаются через социализацию.

до сих пор повествование в романе велось исключительно из перспективы героини, и «я-рассказчица» в целом соответствовала «я-персонажу», то теперь тут и там появляются рефлексии и выводы повествующего «я». Героиня понимает, что её самовосприятие определяется чужим, предложенным ей извне восприятием, которое она сама предугадывает и полностью перенимает. Однако это чужое восприятие играет такую важную роль в модели её идентичности, что освобождение от него представляется ей поначалу невозможным. Она опасается, что такое освобождение полностью уничтожит её идентичность, определяемую лишь от обратного, и её самость:

На занятиях я узнала [...]. Не русские напали на Германию, а немцы на Советский Союз. Я не помнила, как во мне возникло это заблуждение. Знала только, что вина русских перед немцами всегда уже была для меня очевидной. Вина русских перед немцами была первородным грехом, в котором родилась я. Без этого прародительского греха не было бы меня. Без этого греха Германия не была Германией, а Россия — Россией.

Кульминационным моментом становится осознание рассказчицей того, что она сама воспроизводила разрушающие её гипотезы: Все эти годы я была своим собственным нацистом, своим собственным расистом, самым своим глупым и самым примитивным врагом.

Хотя рассказчице и не удаётся справиться с травмами, она постепенно освобождается от своего мнимого щита Харальда, и как женщина, и как человек с русским происхождением. У рассказчицы нет жизни за пределами лживого существования с Харальдом, но она находит в себе смелость разойтись с ним благодаря постепенно крепнущему осознанию того, что попытка сформировать немецкую идентичность и добиться принадлежности к обществу большинства через брак с ненавистным мужчиной обречена на провал; в частности, не только из-за неприятия социумом, а прежде всего из-за того, что отрицание собственных корней и формирование ложной идентичности не приведут к успеху. Характерно, что, обретая уверенность в себе как женщина, то есть, формируя гендерную идентичность, героиня одновременно начинает формировать «национальную идентичность», то есть обращается к своим корням. Влюбившись

в студента по имени Штефан, рассказчица понимает: «Любовь была страной, которая казалась мне ещё более далёкой, чем в своё время Германия». Собственное русское происхождение она также воспринимает как нечто, с чем ей нужно познакомиться, что нужно принять как часть себя самой, которую необходимо включить в свою самость. Может показаться парадоксальным, что она впервые испытывает позитивное чувство принадлежности именно когда находит подход к своим корням и, благодаря принятию своей русскости, становится частью немецкого мира — студенткой, изучающей русский язык. Таким образом она понимает, что не может ждать спасения извне, так как проблема в итоге заключается в ней самой:

Во мне зарождалась мысль, которую я не могла додумать до конца. Моё несчастье происходило не за пределами мира, а внутри него. Другого мира, кроме того, который я уже знала, не существовало. Не было такого мира, в котором всё было в порядке. Не существовало такой силы, которая приводила бы всё в порядок. [...] Всё зависело от меня.

В процессе включения своих русских корней в свою самость и идентичность, она впервые задумывается над судьбой отца и собственным значением в его жизни. Кульминацией её эмансипации становится описанная в самом конце книги поездка в Москву, куда она отправляется в качестве переводчицы. Это начало переосмысления собственного прошлого и прошлого родителей, а также начало освобождения на будущее. В рамках романа переосмысление остается незаконченным. Текст представляет собой набор отдельных запечатлевшихся в памяти эпизодов, которые подаются с многочисленными разрывами и прыжками во времени, а также без структурного деления на главы. Описанные образы не представлены как часть идентичности рассказчицы, а остаются, как правило, без комментариев, без оценки. Таким образом читателю в основном предлагается не завершённое переосмысление, а трезвое и отстраненное описание «я-персонажа», который как будто отделил от себя все эти тяжёлые переживания и ощущения. Лишь иногда, как уже упоминалось, рассказчица покидает фабульный уровень и выходит на уровень комментариев. В один находит для описываемых событий соответствующую форму, используя абсо-

лютно спокойный и поэтичный язык, а также выбирая почти исключительно описывающую перспективу наивной девушки, которая не в состоянии разобраться ни в собственных психических переплетениях, ни во лжи и домыслах немецкого общества послевоенного времени. Ведь то, о чём Водин повествует в этой книге, основано на исторических фактах: антирусские и антикоммунистические настроения оказали на дискурс послевоенного времени в ФРГ такое же сильное влияние, как и искажение исторических фактов, социальная изоляция бывших подневольных рабочих, в которых немцы видят «напоминание о немецкой вине», пережитки национал-социализма в некоторых частях общества, часто описываемые сексуальные домогательства на работе и многое другое. Можно сказать, что большим литературным достижением романа является тот факт, что он нашёл соответствующую языковую форму для страшных и стыдных тем, создав тем самым возможность разговаривать о подобных вещах.

Заключение

В текстах русско-немецких авторов, как и в современной немецкоязычной литературе в целом, затрагиваются в том числе такие темы как идентичность, семья, поколения, современная история, еврейство. Тем или иным образом названные темы присутствуют почти в каждом произведении. Концепция идентичности становится при этом центральной темой, объединяющей все остальные перечисленные аспекты. Особенностью межкультурных текстов в сравнении с другими немецкоязычными современными романами является помещение этих тем в межкультурный контекст, вытекающий из мигрантского прошлого описанных персонажей.

Выйди роман Наташи Водин *Die Ehe* сегодня, его причислили бы к межкультурной литературе и оценили бы по достоинству. Но в двух рецензиях к роману, которые были опубликованы в своё время, это понятие не упоминается в силу того, что к моменту публикации книги оно ещё не успело окончательно закрепиться. Интересно, что Водин в романе *Die Ehe* затрагивает темы межкультурной литературы, которые

и по сей день остаются центральными, и при этом критически рассматривает типичные для того времени концепции и дискурсы. Тема идентичности рассматривается здесь в контексте неудачной ассимиляции, от которой героиня отказывается в пользу признания своих корней. Примерно так же Юлия Рабинович описывает стремления своей героини к ассимиляции в романе *Spaltkopf*. Однако, её стремления основаны не на незнании своих корней, а на их осознанном отрицании и вытеснении в процессе межкультурного поиска. В этом случае стабильная идентичность также может сформироваться только после признания собственных корней.

В более поздних текстах русско-немецких авторов, как например в романе Ольги Грязновой *Der Russe ist einer, der Birken liebt* («Русский — тот, кто любит берёзы», 2012), напротив разрабатываются новые, транскультурные концепции идентичности за пределами национальных, культурных, религиозных и гендерных разграничений. Персонажи этих текстов не стремятся ни к ассимиляции, ни к интеграции, вместо этого они формируют глобализированную идентичность, для которой найдется место в любой точке мира, и которая соответствует нашим современным представлениям о жизни в глобализованном мире. Критики часто подчёркивают, что Грязнова точно чувствует пульс времени, что ей удалось найти тему, актуальную, прежде всего, для молодого поколения. Тот факт, что её книгу уже читают в школах, подтверждает данную оценку.

Анализ романа Наташи Водин *Die Ehe* и его рассмотрение в контексте русско-немецкой литературы позволяет проследить литературно-историческое развитие важных тем, исторических дискурсов и концепций межкультурной литературы. В данном случае внимание было сосредоточено на центральном аспекте — идентичности. Наташа Водин работает в этой книге не в последнюю очередь над переосмыслением эпизода русско-немецкой истории, который нужно помнить также, как и главу современной истории Германии, затронутую автором в романе *Sie kam aus Mariupol*. Следовательно, межкультурная литература русско-немецких авторов кроме прочего ещё и документирует русско-немецкую жизнь. 

Перевод Ольги Хорн

Анализ романа Наташи Водин «Брак» впервые был опубликован в 2018 году (см. пункт 16 библиографии).

Избранная библиография

1. Arnold, Heinz Ludwig (1997): „Der Mann, den ich nicht wollte. Eine Ehe in Deutschland: Fluchtliteratur von Natascha Wodin“ (Rezension zu: Natascha Wodin, *Die Ehe*). In: FAZ (03.05.1997, Nr. 102, S. 34), <http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-der-mann-den-ich-nicht-wollte-1873618-p2.html> (letzter Zugriff: 12.03.2019).
2. Chiellino, Carmine (Hg.) (2007): *Interkulturelle Literatur in Deutschland. Ein Handbuch*. Stuttgart/Weimar: Metzler.
3. Hoge, Boris (2012): *Schreiben über Russland. Die Konstruktion von Raum, Geschichte und kultureller Identität in deutschen Erzähltexten seit 1989*. Heidelberg: Winter.
4. Holdenried, Michaela/Willms, Weertje/Hermes, Stefan (Hg.) (2012): *Die interkulturelle Familie. Literatur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven*. Bielefeld: Transcript.
5. Grjasnowa, Olga (2012): *Der Russe ist einer, der Birken liebt. Roman*. München: Hanser.
6. Isterheld, Nora (2017): „In der Zugluft Europas“. *Zur deutschsprachigen Literatur russischstämmiger AutorInnen*. Bamberg: Bamberg University Press.
7. Magenau, Jörg (2017): „Wiesich der Verlust von Heimat anfühlt“ (Rezension zu: Natascha Wodin, *Sie kam aus Mariupol*). In: *Deutschlandradio Kultur* (09.03.2017), http://www.deutschlandradiokultur.de/natascha-wodin-sie-kam-aus-mariupol-wie-sich-der-verlust.950.de.print?dram:article_id=380798 (letzter Zugriff: 12.03.2019).
8. Nentwich, Andreas (1997): „Kellerkind heiratet Muttersohn. Natascha Wodins gescheiterter Roman einer Mesalliance“. (Rezension zu: Natascha Wodin, *Die Ehe*). In: *Süddeutsche Zeitung* (19.03.1997), S. 905.
9. März, Ursula (2012): „Sie ist auf Alarm. Sie sucht eine Schulter zum Anlehnen. Sie schläft nicht. Sie haut ab“ (Rezension zu: Olga Grjasnowa, *Der Russe ist einer, der Birken liebt*). In: *DIE ZEIT* (15.03.2012, ediert am 11.07.2014, *DIE ZEIT* Nr. 12), <http://www.zeit.de/2012/12/Olga->

- Grjasnowa/komplettansicht (letzter Zugriff: 12.03.2019).
10. Plath, Jörg (2012): „Olga Grjasnowas erfrischendes Romandebüt ‚Der Russe ist einer, der Birken liebt‘. Hochtouriges Identitätenkarussell“. In: *Neue Zürcher Zeitung* (13.03.2012, S. 47), <https://www.nzz.ch/hochtouriges-identitaetskarussell-1.15713595> (letzter Zugriff: 12.03.2019).
 11. Rabinowich, Julya (2008): *Spaltkopf. Roman*. Wien: Edition exil.
 12. Toman, Walter (1997): „Wiederholungszwang“. In: Arnold, Wilhelm/Eysenck, Hans Jürgen/Meili, Richard (Hg.): *Lexikon der Psychologie*, Bd. 3. Augsburg: Bechtermünz, S. 2551.
 13. Willms, Weertje (2013): „Die ‚Newcomerin‘ Alina Bronsky im Kontext der russisch-deutschen Gegenwartsliteratur und ihre Rezeption im deutschen Feuilleton“. In: *Zeitschrift für deutsche Sprache und Literatur* 1, S. 65-84.
 14. Willms, Weertje (2012): „Wenn ich die Wahl zwischen zwei Stühlen habe, nehme ich das Nagelbrett“. Die Familie in literarischen Texten russischer MigrantInnen und ihrer Nachfahren“. In: Holdenried, Michaela/Willms, Weertje/Hermes, Stefan (Hg.): *Die interkulturelle Familie. Literatur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven*. Bielefeld: Transcript, S. 121-141.
 15. Willms, Weertje (2014): „Zum Zusammenhang von Identität und literarischer Form in den Texten russisch-deutscher Gegenwartautorinnen“. In: Klinkert, Thomas (Hg.): *Migration et identité*. Freiburg: Rombach, S. 169-192.
 16. Willms, Weertje (2018): „Zu einigen Gesetzmäßigkeiten des deutschen Literaturmarktes der Gegenwart am Beispiel von Olga Grjasnowa und Natascha Wodin“. In: Frey, Michaela/Oberle, Isabelle/Braune, Clara/Römer, Diana/Schellens, Dorine (Hg.): *Literaturkontakte: Texte — Kulturen — Märkte*. Berlin: Frank & Timme, S. 165-202.
 17. Wodin, Natascha (1997): *Die Ehe. Roman*. Leipzig: Gustav Kiepenheuer.
 18. Wodin, Natascha (2017): *Sie kam aus Mariupol*. Reinbek: Rowohlt.

Александра Бунина

Беролина: медная берлинская дама

Мало кто из современных берлинцев знает или помнит всемирно любимую Беролину, хотя само слово многим хорошо знакомо: оно нередко используется в названиях гостиниц, фирм и улиц. На протяжении почти пятидесяти лет эта статуя была не просто символом города Берлина, а его персонификацией или даже богиней-покровительницей города. Беролина полвека оберегала город. В её истории было много перемен, а конец Беролины трагичен и загадочен. Статуя принимала разные формы, бесконечно переезжала и много раз была на грани уничтожения. Как сама Беролина оберегала город, так и жители Берлина не раз спасали её от жестокой судьбы. И именно об этой статуе и о её полной волнений жизни я хочу вам рассказать.

Первая статуя Беролины появилась в 1871 году. Император Вильгельм Первый повелел возвести статую-олицетворение Берлина по случаю возвращения победивших войск с франко-прусской войны. Поскольку времени оставалось немного, скульптор Эрдман Энке создал одиннадцатиметровую статую из гипса. Она была возведена исключительно ради праздничного приветствия войск, поэтому спустя совсем короткое время её убрали.

Вторая Беролина, именно та, которой предстояло долгое и переменчивое существование, была воздвигнута в 1889 году на Потсдамской площади в честь королевского визита из Италии. Моделью скульпторам Эмилю Хундризеру и Михаэлю Локу послужила 26-летняя продавщица цветов Анна Зассе, которая и раньше позировала многим берлинским художникам и скульпторам. Поскольку и в этот раз времени между заказом и визитом оставалось немного, статую выполнили из дерева, гипса и льна.

Как и большинству персонификаций стран и городов, образцом этой статуе послужила греческая богиня мудрости, искусства, ремесла и войны — Афина, покровительница Афин. Такого рода символы в это время были популярны не только в Берлине. В Пруссии, Баварии и Саксонии часто встречались разные изображения покровительниц, олицетворяющие города и земли. Популярность подобных национальных символов связана как раз с немецким движением и антифранцузскими настроениями во время и после франко-прусской войны. Голову берлинской семиметровой женщины украшала корона в виде крепости, тело окружала кольчуга, шею — цепь, на кулоне которой была изображена печать главы государства. Жестом левой руки Беролина приветствовала берлинцев и их гостей. Она символизировала мир, а также силу и гостеприимство города. Статуя восхитила не только Вильгельма Второго и гостей из Италии — берлинцы тоже полюбили новый символ своего города.

Однако очень скоро и эту статую убрали, так как гипс плохо выдерживал берлинскую погоду. Только спустя четыре года, в 1893-м, зашла речь о повторном возведении статуи в Берлине в более прочном исполнении, но на этот раз на Александерплац. И лишь ещё полтора года спустя проект начали воплощать в жизнь. Придумать и соорудить модель для новой постоянной статуи вновь попросили Эмиля Хундризера. Он сделал модель из гипса для металлопластики из меди. Восемь месяцев работы — и Беролина была готова к постоянной установке на Александерплац. Вместе с пьедесталом статуя получилась высотой в пятнадцать метров.

В 1918 году Беролина с трудом спаслась от печи. Во время Первой мировой войны немецкой армии понадобились материалы для производства боеприпасов. На счастье медной дамы, из-за приближающегося конца войны её пощадили. Спустя совсем немного времени, во время ноябрьской революции того же года, Беролина получила несколько пулевых ранений, однако серьёзно не пострадала.

Город менялся, общественный транспорт в нём развивался и улучшался, так что проведение двух новых линий метро под Александерплац в конце двадцатых годов вновь по-

ставило существование статуи под угрозу. В 1927 году любимую берлинскую даму действительно убрали и временно оставили на сохранение в сарае в Трептов-парке. Но когда в план реконструкции Александерплац 1928 года не было включено восстановление Беролины, стало понятно, что она не вернётся. Берлинцы не были готовы к столь скорому завершению жизни статуи, олицетворяющей город, они требовали её немедленного возвращения. К сожалению, все старания оказались тщетными. Спустя год магистрат принял решение расплавить Беролину, что вновь вызвало сильное недовольство у берлинцев. Горожане не сдавались, предлагали поставить статую в другом месте, а многие даже пытались купить её. Газеты поддерживали кампанию граждан по спасению статуи и таким образом увеличили давление на городское управление. Статую не расплавили, но всё же в последующие несколько лет и не установили заново.

В 1933 году национал-социалистические власти города решили вернуть городу медную покровительницу. Что, несомненно, имело пропагандистские мотивы. Скорее всего, именно поэтому не был упущен шанс устроить большое празднование с прусской военной музыкой, флагами со свастикой и прочей символикой. На этом празднике в декабре в присутствии модели Анны Зассе Беролину вновь подняли на теперь уже шестиметровый пьедестал, недалеко от того места, где сегодня находятся часы мирового времени — на той же Александерплац.

Но Беролина там продержалась недолго. Спустя девять лет её по иронии судьбы включили в список «художественно незначительных» статуй и памятников, которые надлежало расплавить в военных целях. Летом 1942 года её разобрали и увезли. Что конкретно с ней стало и что из неё сделали, до сих пор неизвестно! Приходится исходить из того, что её действительно успели расплавить.

После этого Беролину надолго забыли.

Впрочем, она осталась в литературе — в стихах, прозе и песнях. Медную даму пару раз упоминал Курт Тухольски в стихах, один раз так и назвав стихотворение — *Berolina*; поэт Гюнтер Кунерт, умерший буквально в сентябре 2019 года в возрасте

девяноста лет, в стихотворении *Alexanderplatz einstmals* подробно описал берлинскую статую (*Unter ihrer Mauerkrone / erhaben auf einem Sockel / Madame Berolina*¹); Беролина фигурирует и в гигантской эпопее Альфреда Дёблина «Берлин, Александерплац», и в легкомысленных (и даже частично идеологических) песенках 1920–1930-х годов (в 1928-м, например, в песне на слова Ханса Декнера о нерушимой дружбе Берлина и Вены поётся: *Es grüßt der Stephansturm die Berolina, / die blaue Donau winkt der grünen Spree*²).

Только в 1993 году для конкурса перепланировки Александерплац было предложено восстановить её. Тем не менее, жюри конкурса посоветовало отказаться от Беролины. До сих пор зарегистрированный союз «Фонд поддержки восстановления и сохранения Беролины» борется за создание новой статуи. Участники фонда надеются, что уже в 2020 году можно будет увидеть новую статую на Лейпцигской площади. Так что велика вероятность того, что уже совсем скоро Беролина будет радовать проходящих рядом с ней своим гостеприимным приветствием.



Библиография:

1. Heinemann, Gerd; Matschenz, Andreas; Straube, Julius: Die Pläne mit der Berolina, kartografische Exkursionen mit Julius Staube, 2014, Berlin.
2. Heinemann, Gerd: Zur Geschichte der Berolina. und Teltow, Andreas: Die Berliner Stadtgöttin.
3. Ebert, Marlies: Die Berolina wäre heute 100 Jahre alt gewesen, in: Berlinische Monatsschrift, Heft 12, 1995 Berlin.
4. <https://berolina-standbild.de>
5. <https://anderes-berlin.de/die-berolina/>

¹ Под бетонной стеной поднята на постамент мадам Беролина...

² Собор Святого Стефана приветствует Беролину, голубой Дунай подмигивает зелёной Шпрее...

Ирина Мурт

Как было на самом деле

Книжное обозрение к тридцатилетию падения
Берлинской стены

В этот юбилейный для Германии год интересно посмотреть, как отображено время до и после падения Берлинской стены в современной художественной немецкой литературе, зацементировано ли оно уже в стереотипах и предрассудках или же ещё живёт и дышит, открывается авторами через сюжет и героев каждый раз по-новому.

Могут ли авторы по прошествии тридцати лет рассказать о человеке и его судьбе на этом рубеже не шаблонно, свежо, показав произошедшее не в чёрно-белых красках, не в оценочных категориях — хорошо-плохо, а реалистично, убедительно, многогранно, эмоционально насыщено?

Обзор некоторых изданных в 2019 году художественных книг позволяет сделать следующие выводы:

- 1) стереотипы и клише есть, в том числе и в литературе;
- 2) авторы, каждый по-своему, с бóльшим или меньшим успехом, пытаются пробиться сквозь стену обобщений и упрощений, описывая живых людей с живыми судьбами, используя сложное повествование, в котором даже такое общественно однозначное событие получает в лице героев совсем неоднозначную оценку;

- 3) авторов книг об этой переломной эпохе статистически больше из Восточной Германии, чем из Западной; произведения этой тематики как правило имеют частично автобиографический характер, поскольку содержат авторские воспоминания о детстве и юности в ГДР, конечно в переработанной художественной форме;

- 4) это время становится контекстом и общей сценой, от которой отталкиваются сюжетные линии произведений. Оно направляет, формирует и ломает героев, которые с этим временем склеены.

Начну свой обзор с детского политического триллера (12+) Хелены Эндеман «Зона отчуждения» (*Todesstrafen, Helen Endemann, Rowolt Verlag*, 2019). Детская литература в силу жанра накладывает определённые ограничения на реальность, она — эстетический и педагогический инструмент для формирования мировоззрения, принятого и одобряемого государством. Картина мира, которую нам описывает автор этой книги, достаточно однозначна: Восточный Берлин и Германия в 1985 году — это насилие, Штази, разделённые семьи, трудовая-исправительная колония для не вписывающихся в систему подростков. Мальчиков-двойников, Бена, ученика из западноберлинского спортивного интерната, и Марка, трудного подростка, меняют местами. Марк ищет в западном Берлине маму, сбежавшую туда много лет назад, но не может найти. Бен, против воли оказавшийся в Восточном Берлине, безуспешно пытается вернуться назад. В книге читатели погружаются в атмосферу тотального контроля, изоляции, беспомощности маленького человека перед системой. Это квинтэссенция правды, которую должны знать современные подростки о том времени: жизнь в ГДР была невыносимо трудной для людей всех возрастов.

Такая однозначная трактовка возможна в детском мире, но если её применяют взрослые, когда-нибудь это может закончиться настоящим курьёзом, к примеру, таким, который в своей книге «Как Фрау Краузе придумывала ГДР» описала Катрин Энлих (*Kathrin Aenlich, Wie Frau Krause die DDR erfand, Antje Kunstmann Verlag*, 2019).

Для телевизионного документального сериала «Дикий Восток» уже написана чёткая авторская концепция и продумано содержание: диктатура, дефицитная экономика, серые заводы с несчастными рабочими, авторитарные нянечки в детских садах... Не хватает только живых свидетелей времени, которые могли бы рассказать о том, как «это было в действительности». Фрау Краузе, помощнице режиссёра, поручено найти десятерых человек из восточной Германии, готовых рассказать о своей жизни до падения Берлинской стены на камеру. Фрау Краузе родилась и выросла в ГДР, так что у неё не должно быть проблем с этим проектом. Она возвращается домой, находит репрезентативную

группу: официантку, тракториста, сталевара, повариху, бывшую актрису... Но официантка утверждает, что рабочие после окончания смены пили не от тяжёлой жизни, а вследствие хорошего настроения. Нянечка уверена, что дети, сидящие на горшках в ряд, это ни в коем случае не нарушение границ лично-интимного пространства, а наоборот им было так даже весело. И рабочий угольной электростанции пожимает плечами и говорит: «А как бы мы без неё?!» (Без электростанции.) Репрезентативная группа полностью не соответствует сценарию фильма, в то «страшное» время люди жили, любили свою работу, терпели страну и смотрели любимую передачу по телевизору «*Ein Kessel Buntes*» («Немного пёстренького разненького»).

Может показаться, что автор ностальгически обеляет свою родину, да, возможно, но она также достаточно резко критикует и абсурдизм существующей системы (провозглашённое равенство между мужчинами и женщинами и закрытый «клуб» стариков у власти). Конечно, когда играешь на поле стереотипов и предрассудков, можно легко впасть в шаблонные клишированные противопоставления восточной и западной Германии, это одна из главных претензий к книге со стороны немецких критиков.

Удивительно созвучной предыдущему роману в плане отправной точки сюжета кажется книга «Яд пчёл» берлинки американского происхождения Изабел Фарго Коул (*Das Gift der Biene, Isabel Fargo Cole, Edition Nautilus, 2019*). Здесь героиня, американская студентка Кристина, стипендиатка культурно-академической программы Фулбрайт, приезжает в восточный Берлин в середине девяностых. Она буквально парит в ожиданиях, своего рода предзнаниях о городе ещё до собственной встречи с ним. Для Кристины Берлин после падения стены — это город мечты и безграничных возможностей. Ей не терпится узнать его тайны, жителей, пройти по нехоженным тропам. Она вселяется в старый аварийный дом, знакомится с его жильцами и находит себе место в одном из альтернативных сообществ города. Здесь не чувствуется пульс нового времени, здесь царит ещё непереверенное прошлое. И у каждого жильца своя повесть.

Художница Мета, бывшая панк-музыкант, во времена ГДР находившаяся на принудительном лечении в психиатрической больнице, теперь изучает иудаистику, увлекается Каббалой. В разрушающейся задней части дома у неё собственный арт-салон. Дора открывает маленький модный бутик. Бывшая актриса, социалистка Карла и безработный учитель русского языка не могут найти себя в новой системе. Вольфганг раньше нелегально коллекционировал книги из Западной Германии, теперь интересуется романами исключительно из Восточной. А ещё он бывший пограничник на немецко-немецкой границе, стрелявший по приказу в перебежчиков, что снится ему до сих пор.

Вечер за вечером жильцы дома просиживают за разговорами о новой свободе, об опасностях капитализма, о задыхающемся социализме. Ведут несколько странную богемную жизнь. Многие из них с падением стены что-то потеряли, как будто их волной выкинуло на песок, как будто уже навсегда изрыгнули из чрева современности. Аутсайдеры в ГДР, они и новую систему встретили с определённой долей скепсиса, оказались в капитализме против собственной воли. Раньше отвергали социализм, а теперь признают: этот режим потерпел неудачу только потому, что он был слишком хорош для этого мира. Меланхолическим размышлениям и посиделкам «бывших» приходит конец, когда в полуразрушенный садовый домик вселяется таинственная художница Вера Грюнберг. Её появление придаёт динамику роману, вносит противоречия в устоявшиеся отношения в группе. Дальше сюжет романа развивается мистически и заканчивается арт-проектом Меты — клаустрофобической комнатой из пчелиного воска, полным разрушением дома и трупом в его развалинах. Восточный Берлин и его жители в середине девяностых — контекст, прописанный автором подробно и глубоко, внеклишированной однозначности. Из него же вырастает совершенно другая сюжетная линия, в которой преобладает ревность и зависть художников, неприятие друг друга, даже несмотря на то, что герои находятся в одном политическом лагере, в одной объединённой Германии.

Несколько другую атмосферу этого переломного времени передаёт роман Грегора Зандера о мужской дружбе «Все

сделано правильно» (*Alles richtig gemacht*, Gregor Sander, Penguin Verlag, 2019). Здесь оно сравнивается с открытым голым полем, где происходит всё что угодно. Родителей нет дома, тебе шестнадцать, и ключи от винного погреба у тебя в руках. Вот так чувствуют себя герои романа и их окружение после падения стены. Вокруг царит невероятная энергия, самый концентрированный стусок её — в Берлине. Здесь можно открыть собственный бар, нарисовать картину и проверить с ней многомиллионную авантюру. Жизнь — это бесконечная вечеринка. Берлин тогда ещё не интернациональный город, места много, все относительно дешёвое, в воздухе витают безумные идеи: так герои романа Томас и Даниэль открывают собственный скумбриевый бар в старом магазине часов. И таких нелегальных или полунелегальных баров было энное количество. Томас и Даниэль одновременно достаточно юны и зрелы, чтобы принять новое время, ворваться в его сердцевину и собрать самые сладкие плоды. Это восторг молодых, сильных и энергичных. Но в романе автор не утаивает и обратной стороны мирной революции. Отец Томаса до объединения Германии владел аптечной лавкой, жил так, как будто ГДР не существовало, тихо и мирно, а потом, после перемен, быстро обанкротился и покончил жизнь самоубийством. В том числе из-за первых беспорядков, устраиваемых правыми радикалами, и избития Даниэля, друзья вынуждены были бежать из Ростока в Берлин.

Автор не ограничивается в своем повествовании восьмидесятью и ранними девяностыми, он проводит своих друзей через историю страны и мира в целом: детство и юность в Ростоке, безумный Берлин, украинские дети после Чернобыля на пляжах Балтийского моря, путешествие по Ирландии и ночевка в хлеву с овцами в то время, когда в Шотландии клонируют овечку Долли, поездка в Нью-Йорк после 11 сентября. Есть даже настоящее — главный герой должен защищать исламиста в суде, а также юридически оформлять процедуру выселения жильцов для одного инвестора.

Это одна из претензий немецких критиков к роману: такой сильный исторический фон в книге ещё немного и может перевести её в разряд нехудожественных текстов. А автор в свою

очередь уверен, что книга его глубоко художественна и литературна. Внешний мир по его мнению всегда оставляет след на человеке: будь это падение Берлинской стены или же просто любимая песня юности. Всё остается в нас, и мы ничего с этим поделать не можем.

Сюжет романа начинается с описания Томаса Пипенбурга, успешного адвоката пятидесяти лет, проживающего в роскошном особняке в Берлине. Но за этим великолепным фасадом скрывается классический кризис среднего возраста: разочарование и усталость от профессии, разрыв с женой и отъезд дочерей из дома. Он полнеет и неоднократно спрашивает себя: «Всё ли я правильно сделал?» (*Alles richtig gemacht?* — вопрос-утверждение из названия романа), погружаясь всё глубже и глубже в воспоминания. А жизнь Томаса была бы совершенно другой, если бы не его лучший друг, отчаянно смелый, невезучий, сумаспешный и бесконечно любимый, Даниэль. Эпизоды из его жизни и дружбы со старым школьным товарищем, совместные приключения, авантюры, радости отвлекают его от грустной действительности настоящего, а будущее готовит очередную встречу с другом.

Роман «Несовершенство» писательницы Анне Рихтер (*Unvollkommenheit, Anne Richter, Osburg Verlag, 2019*) — это тоже жизнеописание героев на протяжении двадцати лет, с 1988 года по 2008 год. Ханка, Марк и Пауль — любовный треугольник, и мужчины в нем связаны сначала дружбой, а потом, что естественно, соперничеством. По мнению немецкого критика Корнелиуса Вюлленкемпера, эта книга — бесконечная история ГДР. В ней он видит грубые клише, схематичность сюжета, искусственность диалогов. Возможно. Но эта авторская версия нам наглядно показывает, что не каждый может адаптироваться к радикальным изменениям, как бы желанны эти изменения не были. Один из главных героев романа — это Пауль. В ГДР его исключают из университета за оппозиционные политические взгляды, он — рок-музыкант, известный своими концертами не только диссидентам, но и Штази. Харизматичная яркая личность. После 1989 года оседает в Гамбурге, восстанавливается в университете, становится профессором математики. Теперь

он успешен, живёт с не менее успешной подругой, но тайком от всех сочиняет музыку; в этом бургерском образе жизни он глубоко несчастен и неудовлетворён собой и окружающими. В конце романа Пауль разоряется, живёт на стипендию для музыкантов, много пьёт, немного сочиняет рок-песни, один. В жизни этого героя, самым насыщенным, полным, счастливым периодом было время до падения Берлинской стены — когда он в любой момент мог оказаться и в психиатрической больнице и в тюрьме, когда шёл против устоявшихся правил и законов, но был целен в своем восприятии мира и в бунте против него. Эту цельность он потерял.

Ещё один роман о мужской дружбе, юности, безбашенности, роман неожиданный, смешной, в чем-то гротескный — пожалуй, единственный из этого списка, написанный западно-германским автором, юмористом Франком Гузенем. Речь о его книге «И неудивительно» (*Kein Wunder, Frank Goosen, Kiepenheuer und Witsch Verlag*, 2019). Сюжет комедии разыгрывается на трёх сценах одновременно: Рурский регион, Бохум, последние сталелитейные заводы и углеперерабатывающие предприятия которого исчезают, а культурная жизнь только начинает расцветать; город-остров Берлин на самом передовом фронте Запада; восточный Берлин постепенно разваливающегося ГДР, где молодые диссиденты строят нереалистичные планы на будущее, а пожилое поколение беспомощно капитулирует.

Броки и Ферстер учатся в Рурском университете и изучают, как и все в восьмидесятые, английский и немецкий на педагогической кафедре. А на вопросы о своём профессиональном будущем отвечают: «Что угодно, только бы носить кожаную куртку». По приглашению третьего друга, Фрэнге, они приезжают в Берлин. Фрэнге уже смог умело воспользоваться разделённым статусом города и встречается одновременно с двумя девушками, которые о существовании друг друга не знают. Западная Марта не хочет переезжать на другую половину города, а восточная Роза просто не может. А Фрэнге может и хочет. Представляет свои любовные похождения на два фронта как смелый социальный эксперимент и по понятным причинам опасается каких-либо политических изменений.

Фрэнге и его друзьям выпала возможность за лето прожить в двух биотопах и познакомиться с субкультурой западного Берлина и диссидентством Восточного. С юмором и смехом товарищи присматриваются к обоим мирам и размышляют, какой же их них может предложить им больше. Этот роман получился комедией о времени, в котором Германии было больше, чем нужно.

Подводя итог: авторам этих романов удалось изобразить ту эпоху перемен многоголосой палитрой героев, образов, повествований. Время тридцатилетней давности выглядит выпукло и реалистично. В конечной их суммарности рассмотренные романы выходят за рамки обобщений и упрощений о том времени, вырисовывают отдельные судьбы людей, из которых как из пазлов складывается Большая История. 

Ирина Чевтаева

О любви, страхе и ответственности

Гузель Яхина: *Дети мои*. Редакция Елены Шубиной, Москва, 2018, 496 с. ISBN: 978-5-17-107766-2

Эта рецензия должна была начинаться с фразы: «Когда писатель добивается успеха сразу своим первым романом, получая и премии, и признание аудитории, как это было с книгой «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, ожидания от второй книги возрастают в разы. «Дети мои» — второй роман Яхиной, и те высокие ожидания, которые были, всё же оправдались. Но частично». Это всё так, но по-честному текст должен быть таким:

Читателю из России в этой книге легко увидеть себя и свой опыт. Я прочитала роман дважды, первый раз, думая, что он — о любви, второй — об ответственности. Главный герой — Яков Иванович Бах — работает в школе, в поселении поволжских немцев под названием Гнаденталь, что переводится как «благодатная долина». Внешне он — воплощение страха и молчания, он и сам уставал от того, что всего боялся, — так было до тех пор, пока в его размеренную жизнь и в сказочный Гнаденталь не пришла революция.

Для Баха она начинается с любви, которая, с одной стороны, отчасти помогает ему побороть страх, с другой, — окончательно отрезает от внешнего мира. Для мира революция начинается с горя, смерти и голода, но Бах предпочитает отгородиться от этого Волгой, хочет обычной жизни с любимой женщиной, хочет остаться на обочине истории, молчать и дальше, только у него это не получается, жизнь заставляет его если не говорить, то хотя бы писать — чтобы «избавиться от мук совести», чтобы Баха «не разорвали его черти».

Бах всё время пытается устроиться в роли наблюдателя в жизни, его будто просто несёт по течению Волги, он смиряется со всем, что с ним происходит и бесконечно повторяет: «И не было в этом его вины, не было, не было, не было...» Вины

и впрямь не было, но ответственность была: и всё хорошее, и всё плохое в итоге создавалось его словом, жизнь вынуждала его проявляться. И его ли именно бездействие, или коллективное привело к трагедии — вот вопрос, который ставит Яхина в романе. Она наплатила книгу сказочными мотивами, плетёнными историями о поволжских немцах, разобрала время на слои — это помогло ей показать то, как все серьёзные взрослые в стране, в общем-то, оказались молчащими, отчасти беспомощными детьми, которые не умели принимать решения, верили в чудо и очутились в «вечном ноябре». Ясно, что их молчание — это проигрыш, их отказ брать на себя ответственность хотя бы за свою жизнь — тоже, но их ли это вина?

Хотя Яхина и свободно говорит по-немецки, она сама признавалась, что писать изнутри этой культуры у неё сначала не получалось: помогла поездка в Саратов, в Маркс и в Энгельс, и понимание того, что основное в Бахе — не его национальность, а его желание закрыться в самом себе, убежать от мира и одновременно тщетность этих попыток.

Своей точкой опоры в этом романе писательница называет любовь не только к немецкому языку, к миру поволжских немцев, который ушёл, но и к Волге — это чувствуется сразу. Именно река — ещё один герой книги, Волга разделяет мир надвое, на мир общества и одиночества, мир сказки и реальности, мир политики и природы. Она даёт гнадентальцам жизнь, она приносит перемены, а на её дне — бесконечные ряды ушедших людей, событий и вещей.

В конце Яхина описывает следующее поколение, «детей» Баха: то, как они изо всех сил стремятся пересечь Волгу, стать частью общества, как стараются быть взрослыми и как делают глупости с серьёзнейшими лицами. Так писательница пытается ускорить темп романа, но эта часть удалась ей едва ли: те люди тоже молчали, тоже боялись, а вместо них «говорили лозунги», лозунгами и поверхностными штрихами Яхина этих людей и обрисовала, так что эти персонажи в тексте практически не раскрыты.

Из Баха же страх полностью ушёл, но только в самом конце — когда он потерял всё, когда ничего никому не был должен, а мир «не должен был Баху». И тогда могла бы начаться жизнь, но для него это была смерть. 

Юлия Нежная

Призрак древа

Сергей Лебедев: Гусь Фриц. Время, Москва, 2018, 384 с. ISBN: 978-5-9691-1707-5

О пользе записей и дневников

У многих из нас на антресолях в истёртых чемоданах со сломанными замками, на полках в чуланах на родительских дачах, в нижних, туго открывающихся ящиках письменных столов лежат схваченные рассыпающимися от времени чёрными резинками или перевязанные ветхим шпагатом пачки писем, открыток, старые коленкоровые тетради с пожелтевшими листами. Это запоздалый привет наших близких, которые, исписывая за страницей страницу, обращались не к нам, тогда ещё не родившимся, а к своим любимым, к друзьям, к родным. Давно нет ни авторов, ни адресатов, все они уже за Флегетоном¹, а у нас не хватает духу выдвинуть ящик, достать ветхие папки и начать читать их записи, размышления, заметки на полях. Мы боимся получить из прошлого сильный удар прямо в сердце, такой, что может перевернуть наше представление о том, какого мы рода и кем были на самом деле наши почитаемые предки.

Герой книги Сергея Лебедева «Гусь Фриц» не побоялся заглянуть в прошлое и попал в стремительный поток семейной истории, в воронку, утягивающую его всё глубже и глубже. До дна этой бездны не достать, к истокам не приникнуть, но найти тот виток, из которого растёт ветка твоего рода, можно. Надо только быть внимательным, вчитываться, вглядываться, учиться слушать шум времени, чувствовать себя истинно своим для людей, лица которых ты начинаешь различать на старых фотографиях, чей почерк ты уже не просто разбираешь, а узнаёшь с волнением в сердце.

¹ Флегетон — одна из пяти рек подземного царства Аида, упоминается в произведениях ряда античных авторов и в «Божественной комедии» (здесь и далее прим. ред.).

Тайны родословной семейства Шверат скрыты на старом кладбище под могильными плитами, за покосившимися оградками. Маленький Кирилл Веснянский ещё не понимает, зачем бабушка Лина так часто приводит его на погост к заброшенным могилам, к памятникам с загадочными письменами на чужом языке. Детский ум не может охватить ни масштаба трагедии семьи, ни ужаса её погружения в бездну, но воображение мальчика уже рисует таинственное и страшное Метро Мёртвых, лежащее под городом на немыслимой глубине. Инфернальные поезда вынесут на поверхность давно и тщательно скрываемые тайны, мрачные тоннели приведут к путающим разгадкам.

Именно на кладбище, перед заросшим мхом могильным камнем Кирилл, будучи уже взрослым человеком, узнаёт, что происходит из старинного немецкого рода. По праву наследства, по зову крови, текущей в нём, Кирилл принимает на себя неподъёмную ношу рода — все подвиги и грехи, все падения, предательства, отступничество, но и всю верность, честь, достоинство. Обычная, прежняя жизнь уже невозможна, пришла пора понять не только кем были твои предки, но и кем становишься ты сам, свободна ли твоя воля, готов ли ты идти до конца в поисках правды, примешь ли на себя груз неожиданно открывающихся тайн.

Поиски и находки

Русский мальчик узнал, что он по рождению немец.

Типичные русские мальчики рано задумываются о смысле жизни, о Боге, о своём предназначении. Они готовы не только спорить о бытии и о смерти в заплёванных трактирах, на зашорканных кухнях, в модных кафе, но и выйти на площадь, выкрикивать лозунги на митингах, мужественно противостоять чёрным безликим колоннам. Кирилл Веснянский пошёл на митинг как историк, он хотел посмотреть на вырвавшуюся из-под спуда стихию народного протеста, но в результате сам попал в СИЗО, где почувствовал себя жертвой неотвратимого бессмысленного рока, наконец дотянувшегося и до него. Хотя его амнистировали, выпустили на волю, неожиданно разомкнув хватку, след от этого прикуса власти остался глубокий. Он понял,

что пора заняться историческим прошлым своей собственной семьи, чтобы узнать, какие виды судьба имеет на него самого.

Сергей Лебедев постепенно погружает читателя в глубины истории рода Швердтов. Вслед за героем книги мы двигаемся от одного открытия к другому, путешествуя из Германии в Россию, из одного края огромной державы в другой, и это движение, этот поиск увлекают. Появляются всё новые и новые персонажи, которые тесно переплетаются друг с другом то в любовных объятиях, то в вынужденном совместном сосуществовании. От родоначальника Бальтазара, медика, ставшего в России апостолом загадочной науки гомеопатии, до последыша Каролины, все Швердты борются с безжалостным роком. Одна лишь Каролина становится Линой, пытаясь обмануть судьбу, забывает свои немецкие корни, никогда не вспоминает погибших братьев и сестёр, а для расстрелянного и зарытого в общей безымянной могиле отца придумывает красивую легенду героической смерти на войне. Гибель огромной семьи совершается у неё на глазах, смерть выкашивает близких, равнодушно по очереди забирая всех. Никакие прежние заслуги рода не способны удержать безжалостную руку судьбы. Но именно Каролина открывает правду своему внуку, возлагает на него неподъемный долг быть хранителем семейной истории.

Россия и для родных детей часто оборачивается злой мачехой, и на чужаков наводит она свои строгие очи, не прощает никому ни ошибок, ни описок, ни невольного страха. Бальтазар Швердт стремится из разорённой, ослабленной войнами Германии девятнадцатого века, в холодную, варварскую, но находящуюся на подъёме Россию, надеясь не только принести ей в дар свои уникальные медицинские знания, но и дать исцеление всем недужным и страждущим. Он уже видит свою блестящую медицинскую карьеру, строительство новой лечебницы для тяжёлых больных, предвкушает почёт и всеобщее уважение на новой родине, грезит даже о представлении императору, но попадает в долгий и бесплодный плен к полубезумному самодуру князю Урятинскому. Его мечты облагодетельствовать человечество сменяются на простые желания вырваться на волю и просто выжить, спасти научные заметки, чтобы передать их детям.

Русский князь Урятинский мечтает о продлении своего никчёмного существования, о вечной жизни, и премудрый немецкий медик, заточённый в башню в его родовом поместье, в глухом углу посреди болот и гатей, ищет для него заветный эликсир. Удивительно, как эта безумная идея, пальная мечта до сих пор увлекает наших князей. Минуло более двухсот лет, а в тайных лабораториях Москвы и сегодня разрабатывают вожденное средство Макропулоса², чтобы солдцеликие жили и правили вечно.

Молодой историк раскапывает сведения о жизни не только своих прямых предков. Вместе с Бальтазаром в Россию прибыл его родной брат Андреас и бесследно пропал, не оставив о себе ни единого упоминания. Кириллу удастся напасть на след, отыскать в архивах записи о страшной гибели юного мичмана, честолюбивого молодого офицера, мечтавшего послужить русскому флоту. Во время крутосветного путешествия юношу убили и съели дикари, а его останки моряки засолили в бочке, чтобы можно было доставить их на землю и похоронить с почестями. Так рождается мрачная легенда о Солёном Мичмане, несущем на себе проклятие рода Швердтов.

Единственный сын Бальтазара Андреас, названный в честь погибшего дяди, инженер, мечтавший о новых дорогах и мостах для России, родил Арсения. Этот новый Швердт, прадед Кирилла, стал по примеру своего деда врачом, служил медиком на флоте во время Русско-Японской войны, в советское время стал красным командиром, в годы Большого террора его репрессировали и расстреляли.

Так, переходя от одного предка к другому, от Цусимы к революции и к Гражданской войне, от Харбина к блокаде Ленинграда, Кирилл Веснянский добрался до своих ближайших бабушек и дедушек, которых любил и, как он думал, хорошо знал с самого рождения. Но и с этим заблуждением ему предстоит расстаться. Приступив к созданию призрачного фамильного древа, он и не подозревал, что разрушит все иллюзии своего благополучного детства и ужаснётся открывшейся ему правде.

² «Средство Макропулоса» (1922) — фантастическая пьеса Карела Чапека о секрете вечной молодости.

Немцы — от слов «не мы»

Пройдя вместе с русским народом через все беды и горести, сотрясавшие страну, через войны, бунты, голод, тиф, разорение, потери близких, Швердты всё же не стали в России совсем своими. Пусть Балтазара и его жену крестьяне и называли «добрый доктор», «добрая барыня», пусть затем и Арсения, спасшего немало жизней, со слезами на глазах благодарили солдаты, но в душе относились к ним, как к чужакам, порой с уважением, а порой с опаской и недоверием. Раненый просит врача отрастить ему ампутированную ногу, потому что видит в нём чужеземца, наделённого особой силой, неведомыми знаниями, хотя доктор прекрасно говорит по-русски, родился и вырос на этой земле, любит её всем сердцем. Автор задаётся вопросом, а возможна ли вообще полная ассимиляция, растворение эмигрантов в принявшем их народе. В каком колене чужой становится своим?

Мать Кирилла девочкой во время эвакуации попала в колхоз на Волге, откуда только что были выселены русские немцы. Это спасло её жизнь — в подвалах висели колбасы и окорока, голодный ребёнок был уверен, что попал в коммунизм. Прежние хозяева не смогли взять с собой эти сокровища, их депортировали в двадцать четыре часа. Сталин увидел страшную угрозу в том, что в тылу окопались не просто инородцы, но чужаки, в которых течёт кровь врага. Немцы в Поволжье жили со времён Екатерины Второй и чувствовали себя полноправными гражданами родной страны, но советское государство так не считало и отправило их в телячьих вагонах в казахстанские степи начинать там жизнь с нуля. Как и многие другие народы СССР они были заброшены на чужбину на верную гибель без скарба, без еды, без тёплой одежды, потому что даже малые дети были виновны в своей национальности, а значит, опасны. Прошло несколько десятилетий после войны, но эти люди всё ещё были лишены избирательных прав и по-прежнему считались чужими.

А задолго до этого молодой лейтенант Швердт пишет с борта броненосца, стоящего вместе с русской эскадрой недалеко от берегов Намибии, о том, как немцы справились с маленьким

воинственным племенем гереро³. На небольшом острове немецкие оккупационные войска построили концлагерь, куда загнали всех дикарей и заставили их работать. Время отправки письма — начало XX века. Семена зла уже посеяны, но современники не замечают этого, не подозревая, что небольшая территория с бараками для «черномазых» через годы трансформируется в лагерь смерти с чадающими трубами крематориев в самом сердце Европы, где будут умирать от истощения и побоев «белые» люди, считающиеся «недочеловеками». Век-волкодав уже наступил, две великие страны будут постепенно сползать во мрак, а их народы захлёбываться от ликования и осознания собственной избранности. Может быть, потому немцы и русские так близки и так чужды друг другу, что оказались почти одновременно как на вершинах духа, так и в бездне, не имеющей дна?

А где же гусь?

В этом романе больше вопросов, чем ответов. Главный герой, раскрыв тайны своих родных, близок к отчаянию, ему предстоит решить для себя: уезжать или оставаться, отречься или принять. Век нынешний ловко перехватил эстафету зла, жёсткие тернии прорывают благополучную обёртку обыденной жизни и в Европе, и в России. Безопасность после множества терактов — всего лишь иллюзия, внешняя свобода после арестов и тюремных сроков — условность, ограниченная лукавыми законами и подзаконными актами. Особенности национальных страхов никуда не делись, мы по-прежнему живём по принципу «свой-чужой» и готовы во всех своих бедах обвинить чужаков.

«Но позвольте! — воскликнет читатель. — А при чём здесь гусь Фриц?» Чтобы узнать ответ на этот вопрос, надо прочесть книгу Сергея Лебедева. 

³ В 1904–1908 годах кайзеровские войска уничтожили до 80 процентов населения племени гереро. В 2004 году современная ФРГ признала геноцид народа гереро.

Виталий Кропман

История одной эмиграции

Себастьян Хафнер: История одного немца. ИД
Ивана Лимбаха, СПб, 2018, 448 с. Перевод с
немецкого Никиты Елисеева. ISBN: 978-5-89059-256-9

Подобную книгу, разумеется, при наличии определённого литературного таланта, наверное, мог бы написать любой вынужденный эмигрант. Любкой человек, которому в вырастившей его стране вдруг стало нечем дышать, для которого «дым Отечества» вдруг стал смрадом. И неважно, в какое время происходят описываемые события, как называется эта страна и царящий в ней очередной «-изм». Ведь, в конечном итоге, диктатуры и тоталитарные режимы разных времён неотличимы друг от друга в главном: в той ежедневной войне, которую мощное и безжалостное государство ведёт против маленького, безымянного, неизвестного частного человека. *«Жесточайшими угрозами государство добивается от частного человека, чтобы он предал своих друзей, покинул свою любимую, отказался от своих убеждений и принял бы другие, предписанные сверху: чтобы здоровался не так, как он привык, ел бы и пил не то, что ему нравится: посвящал бы свой досуг занятиям, которые ему отвратительны; позволял бы использовать себя, свою личность в авантюрах, которые он не приемлет; наконец, чтобы он отринул своё прошлое и своё „Я“ и при всем этом выказывал бы неуёмный восторг и бесконечную благодарность»*, — этой фразой Себастьян Хафнер открывает свою книгу «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». И книга эта, написанная более 80 лет назад, как никогда актуальна и для сегодняшней России, и для сегодняшней Германии, да и, наверное, для мира в целом. Впрочем, для каждой страны эта актуальность своя.

Но для начала несколько слов об авторе. Вот как представляет его в послесловии переводчик Никита Елисеев: «Он не был ни коммунистом, ни социал-демократом, ни евреем, ни гомосексуалистом, ни католиком, ни протестантским сектантом,

он не принадлежал к тем, кого нацисты преследовали *par excellence*¹. Сын прусского высокопоставленного чиновника, он принадлежал к тем, к кому нацисты относились не без симпатий. Ему просто надоело нацистское хамство». Это имя — Себастьян Хафнер — взял себе молодой юрист Раймунд Претцель после своей эмиграции в Англию в 1938 году, где год спустя и была написана «История одного немца». При этом она так и не была издана при его жизни: незадолго до смерти он показал рукопись сыну, который и опубликовал её лишь в 2000 году.

Книга во многом представляет собой автобиографию Претцеля, но чтобы защититься от преследования нацистов своих друзей и родных, он меняет некоторые личные обстоятельства: его отец — известный немецкий педагог Карл Претцель — становится прусским чиновником неназванного министерства, исчезает брат — германист Ульрих Претцель, а выехавшая с ним вместе в Англию жена Эрика Ландри (еврейка по нацистским законам) и вовсе превращается в двух персонажей. Но воспринимать «Историю одного немца» как чисто художественное произведение всё равно не получается — хотя в отдельных фрагментах Хафнер поднимается до языка другого немецкого писателя-гуманиста и фактически своего современника Эриха Марии Ремарка. Скорее, это пристрастный рассказ об истории развития Германии с 1914 по 1933 годы, пожалуй, одна из первых (судя по времени создания) попытка найти ответ на вопрос, каким образом страна, характерными чертами которой, по определению Хафнера, были *«гуманность, открытость всему миру, глубокая основательность философии, неудовлетворенность миром и самим собой<...> самокритика, любовь к истине, объективность»* совершила самоубийство, отдав себя во власть нацистам.

Сегодня ответ на этот вопрос хорошо известен. На сравнительно небольшом по историческим меркам временном отрезке уникальным образом совпали и унижительный для немцев Версальский договор, зафиксировавший поражение Германии в Первой мировой войне, и страшный экономический кризис

¹ *Par excellence* (фр.) — преимущественно (здесь и далее прим. ред.).

1919–1923 годов, уничтоживший немецкую экономику и ударивший по среднему классу, и трусость и предательство политических элит, не только не сумевших сплотиться перед коричневой угрозой, но и фактически своими руками отдавших власть Гитлеру, партия которого, кстати говоря, хоть и одержала победу на выборах в парламент страны в 1932 и 1933 годах, но так и не смогла заручиться поддержкой большинства немцев.

Но Хафнера глобальные события интересуют ровно настолько, насколько они оказывают влияние как на его лирического героя, так и на немцев. К примеру, по мнению автора, наступившая после кризиса «эпоха Штресемана»², единственное, как пишет Хафнер, «мирное время, которое пережило его поколение в Германии», подспудно создало психологическую основу для прихода Гитлера к власти. Немцы, отмечает автор, не умеют наслаждаться своей «маленькой, частной, личной жизнью» и поэтому восприняли спад социального напряжения в стране как потерю. *«Немцы заскучали; со скуки в их головы начали приходить идиотские идеи; немцы сделались угрюмо-ворчливы — в конце концов, они чуть ли не с жадностью стали ждать первой же заминки, первой же оплошности или происшествия, которые позволили бы послать к чертям мирную жизнь и ринуться в новую коллективную авантюру»,* — пишет он.

Хафнер, который сам называет себя «хорошим немцем», безжалостен к своим соплеменникам того времени — текст буквально пестрит жёсткими характеристиками, а появление нацизма, считает он, стало возможно именно благодаря его поколению, поколению, рожденному в 1900–1910 годах и пережившему Первую мировую войну детьми: *«Для тогдашнего берлинского школьника война была чем-то глубоко нереальным: нереальным и, однако, существующим — будто игра. В самом деле, я, ребёнок, был тогда болельщиком войны. Для меня имела значение лишь завораживающая привлекательность военной игры, той, в которой число пленных, захваченные территории, завоёванные крепости и потопленные*

² Густав Штресеман (*Gustav Stresemann*; 1878–1929) — рейхсканцлер (1923) и министр иностранных дел Веймарской республики. Лауреат Нобелевской премии мира 1926 года за заключение Локарнских соглашений, гарантировавших послевоенные границы в Западной Европе.

суда — всё равно что голы в футболе или очки в поединках боксёров... Война как великая, вдохновенно-волнующая игра народов, способная одарить более глубокими переживаниями и более сильными эмоциями, чем всё, что может предложить мирная жизнь, — таков был с 1914 по 1918 год ежедневный опыт целого поколения немецких школьников; это и стало основой позитивного образа нацизма». Истоки нацизма автор видит в том, как пережили далекую войну немецкие школьники, его поколение, а не солдаты на фронтах. «Фронтное поколение в большинстве своём дало очень мало настоящих нацистов <...> что объяснимо: тот, кто пережил войну в реальности, оценивает её совсем по-другому, нежели тот, кто видел войну издали», — уверен Хафнер.

В написанной в 1971 году песне Александра Галича «После вечеринки» есть такие строчки: «Бояться автору нечего, он умер лет сто назад...» На мой взгляд, именно это обстоятельство позволило выпустить «Историю одного немца» в сегодняшней России. Потому что, читая её, невольно возникают аналогии с современным миром. Чем, например, такая цитата не описывает состояние эйфории, охватившей определённую часть общества: *«Жадно-инфантильная радость, оттого что твоя страна на географической карте расплзается всё более жирным, всё более широким пятном; триумфальное чувство «победы», наслаждение от унижения и порабощения других народов; садистское удовольствие от страха, который внушает твоя страна; напыщенная национальная похвальба в стиле вагнеровских «Мейстерзингеров»; онанистическая возня с «немецким мышлением», «немецкими чувствами», «немецкой верностью», «немецким мужчиной», лозунг «Будь немцем!»* А разве нескончаемый хоровод надуманных праздников, национальных торжеств и ставка на большой спорт, ставшие некогда одним из основных инструментов по оболваниванию немцев нацистскими пропагандистами, нам, сегодняшним, ничего не напоминают?

И ещё один важный аспект, на который обращает внимание Хафнер и который звучит как никогда актуально сегодня. Особенно на фоне возрастающего влияния в Германии, да и в ряде европейских стран, националистических и правопопулистских сил. *«Национализм, то есть национальное самолюбование и самообожествление, — опасная духовная болезнь, способная исказить и отвратительно исковеркать черты любой нации, точно так же как*

эгоизм и тщеславие искажают и коверкают черты любого человека», — пишет он. И здесь важно привести ещё одну цитату, которая, на мой взгляд, в равной степени относится и к людям того времени, и ко многим нашим современникам. «В Германии именно национализм уничтожает основные достоинства национального характера. Этим объясняется то, почему немцы — в здоровом состоянии, вне всякого сомнения, тонкий, способный к состраданию и очень человечный народ — в тот миг, когда их охватывает националистическое безумие, перестают быть людьми, превращаются в бесчеловечных бестий, зараженных такой лютой злобой, на какую не способен ни один народ», — отмечает Хафнер.

Лирическому герою Хафнера всё это претило. Тем не менее жизнь заставила его вместе с такими же будущими юристами на какое-то время надеть и ненавистную коричневую форму, и повязку со свастикой, и маршировать строем, и вскидывать руку в нацистском приветствии. И хотя автор оставляет финал внешне открытым, последняя фраза говорит о том, что путь его предопределён, отчего он и чувствует себя *«зябко, стыдно, освобождённо»*.

Любому из тех, кому тот самый «дым Отечества» вдруг действительно стал смрадом, рано или поздно приходится ответить себе на вопрос, на который когда-то искал ответ и Раймунд Претцель: возможно ли *«принести в жертву своей стране свой взгляд на вещи, свою мораль, человеческое достоинство и совесть»*. Ведь перед маленьким человеком в борьбе против мощного, беспощадного и наступающего на него государства лежат, как положено в русской сказке, три пути: бороться — и, скорее всего, погибнуть (физически или морально — вопрос не слишком принципиальный), сдаться (как вариант — внутренняя эмиграция) — и, скорее всего, разделить с репрессивным государством его судьбу, или уехать. Тот случай, когда, чуть перефразируя известную строчку Пастернака, и поражение от победы ты сам не сможешь отличить. В конечном итоге книга «История одного немца» и об этом тоже. 

Катерина Гончарова

Везде жизнь, или Особая семья на пути к интеграции.

Alina Bronsky, Der Zopf meiner Großmutter.

Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln, 2019, 224 S.

ISBN: 978-3-462-05145-2

Для авторов, которые пишут на немецком языке, рассказывая о жизни русскоязычных переселенцев в Германии, характерны такие жанры как рассказы, повести, небольшие зарисовки и даже просто байки. Потому, когда на обложке новой книги Алины Бронски *Der Zopf meiner Großmutter* («Коса моей бабушки») стоит слово «роман», начинаешь сомневаться, справилась ли автор с такой литературной формой, достаточно ли захватывающе развивается сюжет, происходят ли изменения в поведении и характере героев. И в ответ на эти сомнения можно смело сказать, что да, это действительно роман, сюжет которого затягивает с первой же страницы и держит в напряжении до конца. Особенно удачно, что повествование ведётся от лица ребёнка, мальчика семи лет. Мы видим его восприятие переезда в новую страну, его понимание ненормальности своей семьи. Мальчик живёт с бабушкой и дедом, которые не могут объяснить ребёнку, что случилось с его родителями, отчего умерла мать, куда делся отец. Мальчика зовут Макс, но бабушка называет его Максик. Семья приехала в Германию по линии еврейских переселенцев, и живут они во временном общежитии вместе с другими иммигрантами. Но бабушка ненавидит представителей этой нации и пугает внука «рыжим евреем», который может заманить конфетами и увести с собой. Бабушка уверяет всех, что мальчик болен всеми известными болезнями, а новые учителя и врачи не разделяют её мнения. В ответ она злится и показывает им дорожный перевод медицинской документации — подтверждение её жертвы. Она оставила профессию учителя балета и посвятила себя борьбе за «выживание несчастного сиротки».

Тем, кто хоть слегка соприкоснулся с такими бабушками и мамами, навсегда запомнилась их гиперопека, ворчливость, ненависть к новой действительности. Их ребёнок всегда одет теплее, чем остальные. Он самый первый в классе будет осенью носить шапку. На завтрак у такого ребёнка обязательно каша, а на обед — суп. Главное, чтобы ребёнок не простудился, не получил воспаления лёгких, не заработал язву желудка. Несчастливого обязательно кроме школы тащат на занятия музыкой, спортом, русским языком или балетом. Ведь ребёнок должен быть успешнее своих родителей, которые в новой стране потеряли прежний социальный статус. Именно из таких семей приходят дети в балетную школу, открытую бабушкой Макса в спальном районе по соседству с русским магазином. Заветная мечта «советской» мамы — увидеть свою дочь в белой пачке на сцене. Это помогает забыть проблемы с новым языком и поиском работы, хоть на время забыть о тоске по Родине.

Переезд в новую страну запутывает сложившиеся отношения: дедушка влюбляется в молодую соседку. Это взаимная любовь. Внук оказывается абсолютно здоров и хорошо справляется со школьной программой. Детская наблюдательность сразу помогает Максиму подметить изменения в поведении деда, бессловесным союзником которого становится мальчик. Однако бабушка, ослеплённая борьбой с влиянием «разложившегося» немецкого общества на ребёнка, не видит измены супруга. И только когда результат этой любви — здоровый бутуз, как две капли воды похожий на своего отца, был предъявлен публике, — у бабушки открываются глаза: не так всё славно в её королевстве.

Автор проводит нас вместе с героями по дороге интеграции, не только языковой и профессиональной, но и через изменения традиционных взглядов на семью, — расширение её круга и превращение из строгой геометрической конструкции в спутанный клубок отношений. Главный герой взрослеет и противостоит бабушкиному воспитанию, но делает это мягко, бесконфликтно. Он любит бабушку и понимает, что ей нужна поддержка. При этом он не становится жертвой зависимости и вечной вины. Молодой человек находит в себе силы узнать

правду о смерти матери, наладить отношения с отцом, который и оказывается тем «рыжим евреем», а затем окончательно уехать от бабушки. Это как затянутый процесс перерезания пуповины, символом которого становится обрезание бабушкой собственной косы. Она перестаёт играть роль вечной жертвы и наконец-то берет ответственность за саму себя, за свою жизнь и будущее. 

Елена Перепада

Доктор Фрейд для мигрантов и последнее Tschüs «всемирной отзывчивости»

Natascha Wodin. Irgendwo in diesem Dunkel. Rowohlt Buchverlag, 2018. ISBN-13: 978-3498074036

Natascha — уже один этот трогательный восточноевропейский деминутив в немецком имени автора как бы намекает на общую проблематику творчества Водин — душераздирающие хождения детской славянской души по железной пустыне германского мира. Гендер, сексуальное насилие, права меньшинств, политика идентичности, политика памяти, репродуктивное право, педофилия и инцест — все эти непереманные триггеры современной немецкой литературы без труда прочитываются в книге. И, разумеется, следует отдать должное немецкой критике, согласившись с тем, что главное новшество Водин — это введение в немецкий литературный дискурс темы судьбы оstarбайтеров. Темы, кстати, полностью отсутствующей и в белорусской, и в русской, и даже в украинской литературе, хотя основная масса оstarбайтеров (говорят о двух миллионах человек) были украинцами. И тут трудно отмахнуться от пусть натянутой, но все же аналогии между оstarбайтерами и сирийскими беженцами: первые подвергались насилию в Третьем Рейхе и оказались в социальном гетто после войны в Германии, вторые подверглись насилию на родине в нынешнее время и оказались в ситуации ограниченной интеграции в странах, предоставивших им убежище. В общем, учитывая всепроникаемость немецкого бюрократического вокабуляра, приходится определить жанр книги Наташи Водин *Irgendwo in diesem Dunkel* («Где-то здесь, во мраке») как *роман воспитания лиц с миграционным прошлым*.

Героиня описывает свои детство и юность в проблемной русско-украинской семье на окраине немецкого городка в послевоенные годы со всеми ужасами неприятия социумом и моббингом в школе со стороны детей-немцев. Впрочем, очень скоро выясняется, что источник ужаса не столько внешний мир Германии, сколько тиранический отец семейства, последовательно этот внешний мир отвергающий по причинам, очевидно, культурной и исторической несовместимости. Деспотия отца доводит мать до самоубийства и заставляет героиню, едва избежавшую родственного растления, искать спасения в бродяжничестве. Её младшая сестра, судя по всему, инцеста не избежавшая, остаётся в полной власти отца и на всю жизнь теряет эмоциональную связь со старшей сестрой. И вот во всём этом мраке (вспомним название книги) героиня пытается нащупать выход в мир нормальности. Эти попытки проводят её узкой дорогой, полной страданий, драм и полного набора превратностей социального дна, в царство свободы, но не счастья. Зона подлинного счастья, обозначенная в тексте наличием некоего Вольфганга как субститута «счастья в личной жизни», возникает из крошечной темноты бытия героини лишь в конце книги как текста, наговоренного и записанного самой героиней. Таким образом, освобождение от власти сил тьмы происходит практически на кушетке невидимого психоаналитика, который направляет рассказ героини о своей жизни на проговаривание вытеснённых драм с целью их осознания и преодоления. Ну что ж, остаётся только сказать вслед за пациенткой: «Спасибо, доктор Фрейд!»

Интересно, что власть инфернального отца распространяется на жизнь героини даже после его смерти. Долгие годы героиня пытается разгадать загадку жизни родителя, его абсолютной власти над членами семьи и отправляется ради ответа фактически в загробный мир — на родину отца, продолжающую существовать и после его кончины. Героиня живёт несколько лет в Москве и отыскивает его ближайших родственников, существование которых отец тщательно скрывал. Эта встреча оборачивается крахом надежд на обретение утраченной семьи и одновременно освобождением от иллюзий —

Москва оказывается городом подозрительных, бессердечных людей, сплошных злобных бабулек, жестоковыйных стариков и смазливых коррумпированных юношей. Семейные узы здесь отменены, на всём лежит печать неизбывной беспросветной «зафаначенности». Одним словом, Россия оказалась воплощением популярной киевской карикатуры 2015 года — матрёшкой с волчьим оскалом и автоматом Калашникова. Поездка в Москву оборачивается для героини не паломничеством в Страну Востока в духе Гессе и Рильке, а путешествием в страну мёртвых, правопреемницу Гулага. В общем, счастье есть, его не может не быть. Но только после окончательного морального и эмоционального разрыва с папиной родиной.

Тема России тяжёлым камнем лежит на сюжете. В основном она воплощена в образе папы-родины, кафкианского повелителя тела и души героини. Его важный атрибут — православие. Безрадостная, маргинальная религиозность родителей проходит красной нитью через всё повествование с особым смакованием деталей восточноцерковного обряда, с тщательным транскрибированием в тексте богослужебной лексики из пасхально-погребального ритуала. Здесь православие как бы выступает маркером царства мёртвых.

Интересна и символика судьбы матери героини. В романе подчёркивается ее украинское происхождение и трагическая несовместимость с мужем. В итоге это экзистенциальное противоречие приводит к ее трагической гибели. Тираническая любовь отца к жене и дочерям сеет смерть и страдания, которые прекращаются только после ментального освобождения от его влияния. А на это уходят долгие годы.

В стилистическом плане роман, без преувеличения, потрясает. Сцены сексуального насилия удивительно физиологичны и безжалостны, а сцены искусственного прерывания беременности с медицински точными и яркими описаниями абортированного зародыща со всеми сопутствующими выделениями или бесконечной агонии старика-отца, безусловно, производят впечатление. Впрочем, этот натурализм не выглядит избыточным и служит глубочайшему катарсису, испытываемому читателем.

И уж совсем трогательными несуслазностями выглядят характерные фактологические ошибки в тексте, вроде «знаменитого вальса Шостаковича «На сопках Маньчжурии»» (который написан Ильёй Шатровым) или «голода 1921 года вследствие массовой коллективизации» (массовая коллективизация в СССР началась в конце 1920-х годов). Всё это не портит наслаждения от местами терпкого, местами холодного, местами жестокого, но в каждой своей фразе завораживающего романа неулыбчивой восточноевропейской женщины о жизни и смерти. 

Лариса Бельцер

На узких перекрёстках мироздания

Анастасия Юркевич: *В обратном порядке*. Москва, изд-во Российского союза писателей, 2018, 140 с.
ISBN: 978-5-906868-43-5

В сборнике Анастасии Юркевич сто стихотворений, разделённых на три рубрики: «Меч из пенопласта» (2016-2017), «Вне видимости» (2012-2015), «Втроём с котом» (2005-2006). Хронология сборника — с 2017 по 2005 год — объясняет его название: «В обратном порядке». Анастасия Юркевич передаёт этим направление своего поэтического видения: из настоящего в прошлое. Между самым ранним и самым поздним стихотворением сборника — 12 лет учёбы, работы, странствий, встреч и расставаний с людьми, которые были её окружением, а главное — рождение детей. Им посвящена эта книга: «Андрюше и Сашке, без которых жизнь не имела бы смысла».

В 2017 году А. Юркевич была присуждена литературная премия «Наследие», сборник «В обратном порядке» вышел под эгидой оргкомитета этой премии.

Обращение из настоящего к прошлому в случае Анастасии Юркевич закономерно и плодотворно. Необходимо было вернуться к запечатлённым в стихах годам странствий на пространстве от Москвы до Берлина через США, Ближний Восток, Южную, Центральную и Восточную Европу. Места, где были написаны стихи, это Хадсон, Феникс, Стамбул, Зальцбург, Мюнхен, Женева, Рим, Лоче и Словенске-Конице, Дюррвин, Саратов, Сааремаа, Варшава... Это, соответственно, Америка, Турция, Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Словения, Россия, Эстония, Польша. Пятнадцать городов и десять стран за двенадцать лет — такой послужной список мало кто может предъявить.

Что это было? Явно не «жизненный путь», и не «жизненный круг», предполагающие некую стандартно-правильную форму. Ломаная линия передвижений была продиктована лич-

ными мотивами: учёбой, встречами и расставаниями с людьми, которые становились в какие-то моменты жизни главными и необходимыми, потребностями подрастающих детей, а также работой в ООН и с собственными музыкальными и литературными проектами. Неудивительно, что получилась эта линия угловатой, зубчатой, со многими разрывами и зигзагами. Весь этот путь, судя по косвенным упоминаниям в стихах, оказался богат и обречениями, и потерями. Так, собственно, и должно быть. Хотя говорить это спокойно можно только со стороны. А как пережила годы странствий сама странница? Такой бродячий стиль жизни А. С. Пупкин называл «весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест». Был ли для Анастасии Юркевич этот период карой небесной, вроде того дикого вихря, который носил по воздуху Паоло и Франческу? Или это были скорее «Годы учения Вильгельма Мейстера» — время познания и внутреннего развития, желанная космополитическая социализация, о которой мечтали многие узники герметично закрытого «советского мира»? Скорее всего, и то, и другое. Во всяком случае, её стихи свидетельствуют, что выбор их автора всегда был осознанным и добровольным:

Новый дом
Не было — теперь есть:
Стекла и бетона смесь.
Загородив проход,
Гремит, громоздит, растёт.
Мне ж — домотать бы срок.
Вырванный неба клоч.
Хлеб наш насущный днесь...
Я не останусь здесь.

Почему же «не останусь»? Потому что «Сильней на свете тяга прочь, и манит страсть к разрывам»? Или потому, что разочарование и отчуждение сделали новый дом совсем не таким желанным, как раньше? И надо бежать дальше, в поисках другого дома, мечта о котором не отпускает после всех разочарований и расставаний:

Как должно быть приятно,
Как другим хорошо, боже мой,
Возвращаться обратно,
Говорить облегчённо: «Домой!»...

Поэтесса не уточняет, что именно она имеет в виду под этим «домой». Иногда это просто «дом», где надёжность, «стабильность» (слово, в русском языке скомпрометированное политическим злоупотреблением), своя семья, дети. Но в одном из стихотворений есть другая конкретизация:

Не продадут, не кинут —
Нам горе не беда,
Мы выбрали чужбину
От слова «никогда».

...

И вовсе не случайно,
А так, как суждено,
Из всех других отчаяний
Мне нужное дано.

Латиница без отчеств
Теперь моё жильё,
Из тысяч одиночеств
Я выбрала своё.

Очень важное признание: автор «выбрала своё». В отличие от Цветаевой, её судьба ей не навязана, она сама так заходила. Она сделала выбор, о котором не жалеет. Вот цитата из переписки с А. Юркевич: «Из обобщений: по большому счету, основная движущая сила «всей меня» — эмиграция, липённость корней, попытка для себя с этим разобраться (открывающая книгу цитата Евсы!), жизнь наперекор немоте. По большому счету ясно, что автор не примет новой среды, «просто оттого, что звезды здесь не горят», для неё это среда немоты, напряжения, оторванности от целого, она «каждой клеткой болеет» и надеется, что «может быть что-нибудь, / ну хоть что-нибудь, да? / переменится». Но именно это состояние дискомфорта и

постоянной жизни наперекор, прокрустово ложе невозможности вернуться в «прошлую жизнь» и такой же невозможности прижиться в новой, «как дичок, прикрученный изолентой», в конечном счете и создали меня как поэта». В этом высказывании А. Юркевич содержится классическое описание «продуктивной травмы» как источника творчества. Немо́та чуждой среды может быть нарушена только её собственным голосом. Если он прозвучит, то это уже не немота. А невозможность вернуться в прошлую жизнь — экзистенциальная константа любого сознательного существования, Эжен Ионеско называл это «повседневным апокалипсисом»: «Я качусь, — кричит он, — я не могу себя остановить, я отслаиваюсь от самого себя. Я ухожу всё дальше и дальше, мой силуэт всё чернее и чернее. Моё настоящее непрерывно становится прошлым, я таю, как снеговик по весне» (*Ionesco E. Présent passé, passé présent. P.: Mercure de France, 1976, p. 280*). Тема Франсуа Вийона: «А где же прошлогодний снег», метафора таяния как исчезновения, стремление остановить мгновение, увековечить его — постоянный фон в поэзии А. Юркевич. Она сама говорит об этом так: «Отсюда и бесконечно, снова и снова, возвращение к корням, любовь к мельчайшим деталям, стремление не растерять их, не забыть, задержать в стихах «этот снег... И в детстве на Большом тот же снег...», «Кутузовский, восемь его полос...», «поплавки, грузила, червяки в проржавевшей банке». Отсюда и безмерная благодарность пастернаковскому всеильному богу любви, всеильному богу деталей: «Кто бы мог подумать, что бог нам отпустит столько?»

Странствия, хоть добровольные, хоть вынужденные, всегда приносят познание и мудрость, а «во многой мудрости много печали». Анастасия Юркевич уже в начале своих странствий обладала обширными гуманитарными знаниями. Она училась музыке в России, в Германии и в Австрии, много выступала с концертами, получила второе образование в сфере менеджмента, которое, в сочетании с владением несколькими языками, дало ей возможность восемь лет работать с ООН. На сегодняшний день она уже более десяти лет живет в Берлине (город, который с гордостью называет сам себя «культурной столицей Европы»), и вот — литературная премия и первый сборник стихов.

Прочитав весь сборник на одном дыхании первый раз, я подумала: в этих стихах столько саморефлексии, что к ним нечего добавить. Какая тут может быть рецензия? Зачем она? При повторных чтениях появились несколько тем и сквозных попутных заметок, и их захотелось обдумать, разобраться.

Во-первых, в контекст поэтической эстетики А. Юркевич органично вплетён огромный культурный пласт — от библейской и античной символики до серебряного века и до современных языковых экспериментов. Об этом сама автор (в личном письме) расставляет свои приоритеты так: «Библейская тема — а она сквозная через всю книгу — для меня гораздо важнее античности. Отсылками к Библии завершаются несколько поздних стихотворений, есть прямые переложения библейских сюжетов: Царь Давид, Талифа Куми, ранее стихотворение «Мне ли не знать...».

Во-вторых, стихи «прикреплены» к локусам странствий. Географические названия образуют пунктирный каркас, на котором расположены сюжеты стихов, события, персонажи. Только в одной серии, озаглавленной *Études* (в первой части сборника), упомянуты *Alexanderplatz*, Берлин, Дрезден, Кирьят-Арба, Словенске-Коница, Хадсон, Варшава, Стокгольм, Дюррвин.

В-третьих, всё разнообразие персонажей, сюжетов и географии стихов в конечном итоге представляет собой нечто определённо-целостное, узнаваемое и очень личностное. У этой поэзии есть свой стиль, своя тематика, свой message, своё лицо.

При таком обилии внешних впечатлений, перемещений и важных событий в жизни, можно просто беллетризировать и поэтизировать обыденность, расшифровывать и наделять литературным статусом тот «у́л бытия» (М. Хайдеггер), в котором только поэт может расслышать речь. Собственно, именно это и делают литераторы, не зависимо от того, поэты они или прозаики. Гоголь назвал своё прозаическое произведение «Мёртвые души» поэмой. И у Тургенева есть цикл «Стихи в прозе». В прозе ли, или в поэтических строфах, поэзия всегда остаётся прежде всего лирикой, выражением эмоционального и образного мира автора. Конечно, зарифмовать можно что угодно: и сатиру, и исторический нарратив, и протокол партсобраний. Но всё это будет не всерьёз и не в центре. Стихи Анастасии Юркевич — лирика *par excellence*.

В сборнике «В обратном порядке» среди рифмованных строф разбросаны и белые стихи. Их не очень много, но зато они размещены на значимых местах: ими открываются второй и третий раздел сборника: «Земную жизнь пройдя до пресловутой/черты» — второй раздел, и «...снег. словно потерянный, слепой март» — третий раздел. Без рифм написано семистрочное стихотворение: «Гретьяковка. Выставка Нестерова» — прекрасное переложение изобразительного искусства на слова, оно заставляет вспомнить «Любите живопись, поэты...» Н. Заболоцкого. Вообще-то А. Юркевич с лёгкостью находит для своих текстов рифмы, часто виртуозные, неожиданные, провокативные. В её стихотворной технике можно обнаружить анжамбеман (внутрисловный перенос, когда слово в конце строки разрезается на две части и вторая часть переносится на следующую строку), например:

...грустный, как ослик, оставшись по той причине,
что до рассвета никак не кончались рас-
сказы твои, шехрезада моя, мой сложный
случай, мне говоривший: «моя семья».

В данном примере вторая часть рассечённого слова «рас-сказы» перенесена не только на следующую строку, но и в следующую строфу, т. е. она отделена от первой части интервалом между строфами. В ещё одном примере анжамбемана он сопровождается не только рассечением слова «вместе», но и его усечением при третьем повторе:

опускаться — вместе со снегом, вме-
сте со снегом, вме... — в создавшейся тишине

Приём разорванного, неоконченного слова А. Юркевич использует часто, есть он и в стихотворении, посвящённом М. Гарбер:

Пристальнее — оттого, что смертен —
Вглядываясь в нечто впереди,

Человек становится инертен,
Путь земной пройдя до середины...

В последней оборванной строке читатель легко узнаёт цитату из Данте, первую терцину его «Божественной комедии» (перевод М. Лозинского):

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины...

Во вторую часть этого же стихотворения автор включает ставшие мемами «обломки» советской поэтики — такой приём охотно использовали постсоветские концептуалисты. Фактически эти «обломки» превратились в фольклор, их можно ставить в один ряд с народными пословицами и поговорками. В этом случае можно увидеть связь уже не с Серебряным веком, а с Дмитрием Приговым и со Львом Рубинштейном:

Жизнь прожить — не поле... Поле боя
Перейти?...

От Москвы до самых до окраин
Мимо «Праги», зацепив Арбат,
Человек уходит, как хозяин,
Только перед Богом виноват.
Иногда лишь кратовскую дачу,
Сосны, облупившийся забор
Вспомнит и тихонечко заплачет
Вместо сердца пламенный мотор.

Метрику и рифмы Анастасия Юркевич свободно подчиняет своему поэтическому замыслу, а не строгим литературным канонам. Её строфы могут содержать произвольное число строк, да и рифмы располагаются по самым разным схемам: например, АВАВ (процитированное выше посвящение М. Гарбер); а вот рифмы в первом стихотворении сборника выстроены по сложной схеме:

первая строфа — ABCBDE;

вторая строфа — ABACBA.

В первой строфе зарифмованы только две строки: вторая и четвёртая. Во второй строфе из рифм выпадает только строка С, но она рифмуется с двумя строками в первой строфе.

В сборнике есть стихотворения, в котором четырёх-строчные строфы зарифмованы как АААА, то есть единой рифмой. Это, например, баллада «Сказка на ночь»:

А граду этому имя, слышь, Содом,
И град этот, так уж сложилось, мой дом, мой дом,
Свет клином сошёлся, язык мой родился в нём,
И срам его на моём на сердце — позор-клеймом.

В данном случае виртуозны не только сплошные рифмы, но и необычный по сложности стиль, основанный на имитации былинного сказа, но без серьёзной эпичности, а с оттенками сарказма и персифляжа:

А за спиной у царевича гневен звериный рык,
Волк лапой ступает мягкою, щерит клык,
Чует нутром звериным синь-смог-кирдык,
Топорщит Колумб над городом чёрный штык»

Есть стихотворные тексты и с ещё более сложными схемами рифм, например, внутрискорочные рифмы, но надо отметить, что такие приёмы никогда не являются для Анастасии Юркевич самоцелью или игрой со своими возможностями. Они точно следуют поэтической задаче, и в мелосе текстов можно видеть их непосредственную связь с музыкальным даром их автора.

Пушкин:

Из наслаждений жизни
Одной любви музы́ка уступает,
Но и любовь — мелодия...

Действительно, в этом случае невозможно «вычестъ» музыку из поэзии. Читатель не знает, что было вначале, поэтическое слово или звуки музыки, что из чего выросло. В поэзии

Анастасии Юркевич они сплавлены в единое целое: строки — аккорды, строфы — музыкальные фразы, стихи в целом она иногда называет *Études*, следуя принятому обозначению музыкального жанра «этюд». Наиболее известные своей мелодикой строки из классики Анастасия Юркевич органично впадает в свои поэтические тексты. Например, совершенно неожиданно, большое стихотворение без названия и на вполне бытовую тему, она завершает одной из самых мелодичных строк в поэзии Серебряного века:

Такой же, как на том, потёртом,
Обрывке: в небе не стареют.
Двадцать шестой. Двадцать четвёртый.
Россия. Лета. Лорелея.

Ещё о музыке: аллитерации в поэзии Анастасии Юркевич такие же виртуозные, как и ритмика строк и строф. Они не ограничиваются сладкоголосным звучанием, это могут быть «рычащие», «скрипящие», «визжащие» тона.

Если это стройка, то она громыкает:

Загородив проход,
Гремит, громоздит, растёт.

Если это любовь, то она начинается как шорох, «шёпот, лёгкое дыхание, трели соловья» (А. Фет), это пипящие Ч, Ш и Щ, звенящие З и С, это трель с быстрым перебором клавишей:

Еле слышный звук, возникший неведь откуда,
Легче спящей бабочки, невесомее обертона,
Тихого стога птицы под спудом шторма —
Предвосхищенье чуда.

А вот совершенно противоположная, «хлопающая» и «слезящаяся» акустика у стихотворения из 8 строф, выдержанных от начала до конца в рамках звукового фона оттепели с её капелью:

Потеплело, как будто заплакало,
По асфальту печаль развезло.
Ну кому это хлипкое, жалкое,
Бестолковое это тепло?

Почему я так подробно останавливаюсь на литературной технике Анастасии Юркевич? Почему в центре рецензии не мораль, не философия, не социальный протест, не критика чего-то, что и в самом деле плохо? По очень простой причине: потому, что автор не морализирует, не философствует, не протестует и не критикует. Анастасия Юркевич пишет стихи. Эти стихи содержат образы социальности, в них есть сюжет (кроме тех случаев, когда он не нужен), они психологичны, в них отражена история культуры, пропущенная через сознание и опыт автора. Они очень личностные. Они фиксируют то, что переживается или мыслится здесь и сейчас, под влиянием конкретного события или впечатления. У автора есть позиция по всем упомянутым выше «вечным вопросам и великим проблемам», но они нигде и никогда не выступают как самоцель. Невозможно сказать со стороны, была ли у автора цель создать дневник своего эмоционального и умственного опыта, но её сборник читается именно так — как документ внутреннего мира конкретного, единичного, уникального человека.

У каждого автора есть своя тематика, характерная только для него, делающая его узнаваемым. Свободно владея всем спектром поэтических техник, Анастасия Юркевич легко справляется с самыми сложными поэтическими темами. Традиционно считается, что «женская поэзия» (если таковая в принципе существует) сконцентрирована на любовной тематике, а иногда ею и ограничивается. Что стихи об «отношениях», об эротике, о встречах и расставаниях, о любовной оптике, меняющей мир, составляют главное содержание женского поэтического творчества. До некоторой степени это верно, если говорить о коронованных властительницах русской поэзии Серебряного века М. Цветаевой и отчасти А. Ахматовой. Но эти клише имеют очень мало общего и с хорошей поэзией, созданной женщинами в целом, и менее всего с поэзией А. Юркевич. Разу-

меется, у неё есть стихи о любви, влюблённости, встречах и расставаниях. Есть стихи, посвящённые мужчинам-избранникам, обозначенным только инициалами. Есть стихи о разрывах отношений или об их предчувствии. Но формат «любовная истерика» с поэзией Анастасии Юркевич несовместим. Обо всех переживаниях она говорит почти всегда с дистанцией, как бы косвенно, отстранённо и остранёно. (В. Шкловский так определил «приём остранения»: «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание „видения“ его, а не „узнавания“». При остранении вещь не называется своим именем, а описывается как будто в первый раз увиденная» — Википедия). У Анастасии Юркевич нет таких текстов, в которых напрямую описывались бы любовные страсти, переживания, претензии, обвинения в адрес партнёров и возлюбленных. Трудно представить в её поэзии и такие строки как «Мой милый, что тебе я сделала». Любовной и «отношенческой» тематике у неё сопутствуют дисциплина и аскетизм, а может быть, это просто хорошее традиционное воспитание и наличие строгого, классического вкуса, который сразу бросается в глаза при первом же знакомстве с поэтессой — её тексты похожи на её облик: волосы собраны на затылке (см. фотографию на обратной стороне обложки сборника), минимальная косметика, классический, строгий стиль в одежде.

Если говорить о тональности её стихов о любви, то во многих из них разлита лёгкая ирония, меланхолия с присущим ей непроговоренным ощущением *vanitas vanitatis*, и принятие реальности со смирением:

А там, во сне, нам так с тобой легко,
Так счастливо, так радостно, так просто.
Любовь, такого маленького роста,
И метящая так недалеко,
Случилась...»

Я вспоминаю выставку почти 15-летней давности в берлинской Новой национальной галерее, посвящённую теме «Меланхолия». Тогда во всех залах были развешаны портреты

с изображением задумчивых мужчин, сидящих за столом и опирающихся щекой на руку — такая композиция называется *Gestus Melancholicus*. Эта поза осталась неизменной на протяжении нескольких тысячелетий: бремя страданий у человека в голове, его взгляд обращён в пустоту или вовнутрь. А вокруг него, на столе и на полу — символы тщеты и преходящести всего земного: богатства, красоты, славы, власти, мудрости и любви... За многими — но далеко не за всеми — поэтическими текстами Анастасии Юркевич стоит это мировосприятие, накопленное в итоге уникального жизненного опыта на сломе эпох: перед её глазами ушла под воду советская Атлантида, а она сама — «таинственный певец, На берег выброшен грозою...» После отъезда из Москвы на учёбу в Германию и многих лет жизни в самых разных точках, раскиданных по глобусу далеко друг от друга, у неё за спиной осталось мало что из того, что она когда-то покинула. Остался язык, который она не растеряла в своих странствиях. И ещё воспоминания и опыт «прошлой» жизни с всеми ее разнообразными реалиями: историческими, обыденными, часто непримечательными, иногда трагическими, иногда криминальными — но никогда не лишенными «цвета». Для описания и осознания этого опыта она тоже находит поэтический язык. Видимо, в её багаже тайком ездила за ней следом память и о репрессиях, и о войне, и о многих особенностях советского быта, никуда не девшихся по сей день. Вот «пробы грунта» из стихов разных лет: они написаны о том, что могло бы стать, но не стало только прошлым.

Лагерная тематика, из стихотворения «Очередь у Крес-тов», эпитафия из Варлама Шаламова: «Тот самый день был средством пыток, / Что применяются в аду»:

В декабре светает ближе к полудню.
Полчетвёртого подъём, немного хлеба.
Есть у ада выходные и будни,
И луна, как апельсин в черном небе.
В круте первом ныне давка и сырость,
От дыханья запотело окошко.
Мы ужмёмся и потершим немножко —

Не такое нам терпеть приходилось.

Эпизод из времён войны: комиссары расстреливают своих же новобранцев, отступивших назад под шквальным огнём немцев. Строки сформированы так, что посередине, на внутренней рифме, образуется цезура. Ритм как бы передаёт эффект короткого предсмертного дыхания, парализованного страхом. Эпиграф из книги Александра Константинова (деда А. Юркевич) «На фронте и в плену»: «Вернувшись на этот берег, они стояли в мокром нижнем белье, дрожа от холода и стыдясь проходящих. Видел, как их, человек двести, вели под конвоем на расстрел. В глазах — ужас, мольба о пощаде. Невыразимо страшное зрелище».

— Мы тоже любим Родину, ты ж видишь — ураган,
Зачем же ты, уродина, патрон суёшь в наган?
За Родину, за Сталина иль за едрёну вошь
Ты, гнида-комиссарица, туда его суёшь?!
И всех, кто недострелянный карабкался из вод,
Как надобно, как велено, отправили в расход.
Не охали, не ахали — раздели, повели,
И кровь, как клюква в сахаре, ворочалась в пыли.
Зарыли да поехали в глухую сторону,
Да в лес, да за орехами — выигрывать войну.

А вот бытовуха. Обыденная трагедия «маленького человека», чьи отцы выиграли когда-то ту страшную войну, и он, во втором или в третьем поколении, смог наконец построить свой долгожданный дом:

У семи-то нянек, известно — дитя без глазу.
А у нас наемни Светки-алкоголички
Близнецы-трёхлетки и муж погорели разом:
Ничего не осталось — ни пуговицы, ни тряпички.

...

И она в областной который день на морфине,
Улыбается, робко просит ещё котлетку,
Иногда только, будто вспомнила что, застынет
И тихонько спросит: «А Сашеньки больше нету?»

Лагерь, войны, убийства, погорельцы — это беспроблемный ужас обыденной жизни. Но на этом фоне светятся как маяки (или светлячки) стихи Анастасии Юркевич о детях. Они родились и подрастают в Берлине, ходят с мамой на концерты, общаются с её друзьями — неиссякаемый источник огромного спектра чувств и переживаний, попросту — любви. О детях — своих и чужих — Анастасия может говорить так, как мало кто из современных поэтов. Её сыну и дочери, как я уже упоминала выше, и посвящён этот сборник стихов:

Андрюше:

давай я догрызу за тебя сырок,
почищу за тебя зубки, найду твоего кузю,
не буду рассказывать про бабайку,
благословлю на ночь, не забуду сказать аминь.
играй мне на пианино
любым пальцем стаккатто-легато-фрулато.
У сестрёнки вырастут во-о-от такие кудряшки!

А вот и сестрёнка получает поэтический голос. Наверное, в детской интуиции есть ясновидение, ибо отважная четырёхлетка предлагает своей маме то, в чём взрослая мама больше всего нуждается — защищённость:

Сашке:

Только ты не бойся, мама, как маленькая, не бойся!
Вот возьму сейчас меч андрюшин из пенопласта,
Пистолет, и палку, и сына моего Бармалея —
Мы пойдём и всем им наkostenяем.
Потому что я взрослая. Мне вообще-то уже четыре.

И хотя автор сама признаёт, что в последние годы у неё на первый план «выходят темы потери, переоценки разорванных человеческих связей — и горькое принятие стоической максимы «не привязываться слишком, не копить вещей», эта печаль светла, она уравновешена радостью от того, что её дети растут, что она может многое дать им на будущее: они занимаются музыкой, они учат языки, они окружены не только любовью, но и уникальным счастьем получить от своей необыкновенной мамы в подарок

посвящение на книге стихов, отмеченных литературной премией — ценность такого подарка будет только возрастать с годами, по мере их взросления и осознания необычности своего детства. Это примиряет автора со всеми её утратами: «А родина, господи, в чем она, в сущности, родина?» Может быть, в конечном счете именно эти детали прошлого, сохранённые в памяти — и есть родина человека, особенно поэта, особенно поэта, оставшегося без дома, этого вечного жида по определению. Это то единственное, что имеет смысл копить и к чему имеет смысл «слишком привязываться». Единственный понятный «итог» там, где так сложно подвести какие-либо итоги: «Все ли сложилось? Со стороны видней. Мне уж давно ни вспомнить, ни разобраться» (Из переписки с А. Юркевич).

Поэтический сборник Анастасии Юркевич — это мостик от философской и ностальгической поэзии Серебряного века к нашей современности, в которой так много сходства с той эпохой столетней давности. Это и кумулятивное накопление творческого потенциала и знаний поколением эпохи перемен, к которой принадлежит автор, и опыт эмиграции, и по-своему воспринятая и пережитая европейская история, философия, культура.

Г. В. Ф. Гегель, классик немецкой философии, включил в триаду высшего знания, названную им «Абсолютной идеей», философию, религию и искусство. Этим он «уравнял в правах» гармонию и алгебру, рациональное и эмоциональное, чувственное и логическое. Поэзия утраты родины и обретения себя от Анастасии Юркевич, абсолютно на это не претендуя, приобщает читателя к высшему знанию о мире и о самом себе. Её тексты можно и нужно не только читать, но и «прибавлять себя» к прочитанному. При всей их символической насыщенности, её стихи «компатибельны» с любым открытым читателем. Да, они встроены в культурный контекст сложной эпохи, они интеллектуальны, многозначны и многослойны. Но как раз благодаря этому каждый читатель может найти в них то своё, с чем он сможет вступить в диалог. 

Вера Колкутина

Видео и кино: как отличить?

Кинообзор

Кино снимают везде в мире. И даже в Африке, спросите вы? Да, ответим мы, и даже в Африке. Везде. На камеру, на разнокалиберные плёнки, снимают короткий метр и длинный, снимают документальное и художественное, снимают на смартфоны, для большого экрана, для телевизионных каналов государственных и частных, снимают только для показа в интернете и нигде больше — спектр возможности съёмок сегодня широк.

В какой момент «просто видеосъёмка» превращается в кино? В смысловом плане — все отличия будут лежать в области субъективных оценок, и редкому кинокритику удастся вычленишь те смыслы, что лягут в основу деления на любительскую, телевизионную, интернет-videосъёмку и профессиональное кино. В техническом же плане такие отличия более наглядны. Приведём несколько:

Скорость движения

При съёмке художественного кино используется частота 24 кадра в секунду, во всех остальных случаях, как правило, это будет видео с частотой развёртки 60 кадров в секунду. Это значит, что все быстро движущиеся персонажи и предметы в кино не имеют чёткости «как на фотографии», а в каждом кадре присутствует определённый смаз движения, который зависит от скорости перемещения этого персонажа (линейное размытие движущихся предметов). Это первое отличие.

Освещение. Источники света

Вторым отличием можно считать подход к освещению места действия. Свет в кино играет роль жирного прифита в тексте, сцены в театре, подиума для оратора — освещение придаёт сцене нужное настроение и фокусирует внимание в правильной

точке интереса, будь то предмет или персонаж. В кино для одной сцены может устанавливаться до десяти осветительных приборов. Кроме источников света для построения световой схемы, также используются отражатели и загородки (флаги). В доступных всем видеосъёмках световая схема строится на двух-трёх больших источниках, которые быстро устанавливаются или имеются в наличии (лампа в комнате, яркий солнечный день) и просто заливают светом всё место действия.

Сюжет и кадр

В фильмах для телевидения и интернета внимание зрителя удерживает в основном сюжет. Об этом сегодня говорят все — снимаешь ли ты для инстаграм-сторис, видео для видеоблога (влога) или сериал для телевидения, сюжет — основной якорь внимания в этих случаях. Кино снимают таким образом, чтобы внимание зрителя удерживал каждый кадр. Для этого кадры насыщают движением, композицией и цветом. Ещё до начала съёмок постановщики прорисовывают и планируют каждую сцену — в какой части экрана должен находиться персонаж и предметы таким образом, чтобы это воспринималось зрителем максимально комфортно. Заранее рассчитывается и перемещение камеры, предметов и персонажей с учётом правильного перехода от каждого предыдущего кадра к следующему.

Есть и ещё ряд особенностей, но мы обратили ваше внимание на основные.

И в этом ключе представляем вашему вниманию фильмы не простые, а с точки зрения сюжета и его наполненности сложные ленты и по-своему тяжёлые, но в то же время это то самое кино, где динамика, свет и кадр стоят того, чтобы смотреть и видеть искусство и магию кино в каждом кадре.

Золотая перчатка (*Der goldene Handschuh*, 2019, Германия-Франция). **Фатих Акин.**

Драма, триллер. Участник Берлинале-2019.

В ролях: Йонас Дасслер, Маргарете Тизель, Катя Штудт.

Это новый и очень жестокий фильм Фатиха Акина (*Fatih Akin*).

Сюжет — история Фрица Хонки (*Fritz Honka*), серийного убийцы из Гамбурга, снятая по роману Хайнца Штрунка (*Heinz Strunk*). Дело происходит на самом дне Гамбурга 1970-х, в дешёвых кабаках, где напиваются вусмерть списанные на берег моряки, офицеры СС и проститутки, которым перевалило за пятьдесят.

Саму ленту можно было бы классифицировать иронично как «возрастную» — молодых лиц мы там почти не встречаем. Все герои — люди, прожившие как минимум полвека. Сам режиссёр в многочисленных интервью повторял, что для него возраст — это жизнь, и он с удовольствием всматривается в жизнь и снимает её. После премьеры и общество и кинокритики высказывались, что фильм эстетически ужасен, героини фильма кажутся уродливыми, а герои — слабыми и отвратительными. Данная реакция имела место быть, но, возможно, она гораздо больше говорит об обществе, а не об авторе ленты.

Золотая перчатка: о чём?

На первый взгляд может показаться, что режиссёр показал всю эту мерзость для «пущего эпатажа». Как, например, это свойственно коллеге Акина по цеху — датчанину Ларсу фон Триеру. У Триера его последний фильм «Дом, который построил Джек» — многобюджетный, яркий и композиционно сложный.

«Золотая перчатка» — пример того, как можно снимать отличное кино почти без денег. Режиссёр «Перчатки» — турок во втором поколении, в Германии этот момент имеет значение и для понимания фильма. Всё же бытие определяет сознание — каждый кадр режиссёром прочувствован так, что зритель понимает: история времени изучена вдоль и поперёк, сам режиссёр как будто жил и видел всё это своими глазами и транслирует нам жизнь из 1970-х, а не из двадцать первого века.

Главная роль

Йонас Дасслер (*Jonas Dassler*) в главной роли изумителен. Высокий, широкоплечий актёр молод (родился в 1996 году), красив и спортивен. Играет такого Квазимодо. Видно, что он

горбится — при росте в 177 сантиметров ему приходится играть героя на голову ниже, и в целом он атлетичный и здоровый, что невозможно полностью скрыть, а тем более — в постельных сценах. Но Дасслеру в любом случае респект, так сыграть последнего ублюдка при его природных актёрских данных (и, вероятно, художественных амбициях!) сложно, а по сути и обидно. Но! Он — профессионал. И его имя нужно запомнить. На немецкой киносцене Дасслер явно выделяется талантом.

Сверхидея

Трэш без идеи — это «Розовое фламинго» (1972) Джона Уотерса или «Свадебная ваза» (1974) Тьерри Зено. Они смешны. Чуть ироничны, но всё-таки смешны. А тут совсем не смешно. Это чистый Брейгель. Те, кто видел его картины, считают себя выше его персонажей и его сюжетов — так же, как советский зритель считает себя выше булгаковского Шарикова в «Собачьем сердце». Они сами себе шепчут, что это ад, это ужас, это Инферно, далёкое от нас, мы — «над». А на деле мы не «над», мы «в»...

Вот и фильм Акина отчасти об этом. О погружении в брейгелевские и босховские картинки про дно. И дно здесь такое, что лучше в него не лезть. Не нужно считать себя экспертами в том, что внизу. Мы с вами, зритель, про это дно ничего не знаем. Нам, слава небесам, не довелось туда опуститься. И когда мы морщимся, мол, это неприемлемо, мы должны помнить, что оно есть. Есть. И если вы это ощутили кожей и после просмотра облегчённо вздохнули — счастье есть, оно просто и доступно всем.

Но рядом с нами есть вот такое — расчленёнка, нездоровые сексуальные воплощения и прочая грязь. Та грязь, которая приводит в чувства, но не оседает на тебе. И это дорого стоит. Фильм не получил «медведя» на Берлинале-2019, фильм не был признан критиками и получил массу негативных отзывов, но как художественно-исторической драме о жизни мы ставим ему высший балл из возможных в своём жанре. Фильм раскрывает по-новому и создателя. Фатих Акин — сильный режиссёр, и фильм «Золотая перчатка» это наглядно доказал.

Ломо — язык многих других (LOMO — *The Language of Many Others*, 2017, Германия). **Юлия Лангхоф.**

Драма. Участник Берлинале-2019.

В ролях: Йонас Дасслер, Люси Хольманн, Ева Нюрнберг.

Кино. Что выдуманно — сюжет или реальность? В отличие от предыдущей киноленты, эта создана не по книге, сюжет подкинула сама жизнь. «Ломо» — молодёжная драма об искушениях и коварстве киберпространства. Шуточки относительно жизни в смартфоне, ирония и высмеивание виртуальной реальности — это уже не шуточки, режиссёр Юлия Лангхоф (*Julia Langhof*) показывает повседневность.

Сюжет

Карл учится в выпускном классе, впереди у него экзамены и аттестат. У Карла благополучная семья: талантливый и преуспевающий отец-архитектор, мама и сестра-близнец. В семнадцать лет Карл живёт в роскошном коттедже с бассейном и сауной, но трудно всё это ценить, если ты так жил всегда. Нет драйва, интриги, непредсказуемости. Так же, как её нет на школьных уроках. Учителя старой формации никак не возьмут в толк, что новому поколению молодежи «надо делать интересно». Зато «интересно» есть в сети. Можно создать сразу два аккаунта и наблюдать за попытками одноклассников отгадать, кто скрывается за твоим вторым ником. Сюда можно выложить видео семейного ужина, на котором ты задаёшь родителям провокационные вопросы, и интимное видео девушки, которая тебе отказала. Это отличное место, чтобы искать и находить себя, но в процессе поиска важно понимать, какие это может иметь последствия для других и тебя самого.

Бравада силой «инкогнито» и «всё разрешено» может обернуться трагедией для тебя самого. Но, как известно, мы учимся только на своих ошибках. Хотя этот фильм предупреждает: будь внимателен, будь честнее, прежде всего — с самим собой.

Основные награды:

Баварская кинопремия — лучший молодой актёр (Йонас Дасслер),

Международный кинофестиваль в Мюнхене — лучший сценарий.

Моего брата зовут Роберт, и он идиот (*Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot*, 2018, Германия-Франция-Швейцария).

Филипп Грёнинг

Драма. Фильм впервые показан на Берлинале-2018.

В ролях: Йозеф Маттес, Юлия Цанге

Характерная черта фильмов Филиппа Грёнинга (*Philip Gröning*) — герметизм, трансляция особого состояния психической замкнутости, поглощающей героев и цементирующей пространство, словно спёртый воздух. Особенность Грёнинга как режиссёра в том, что он сам и режиссёр, и продюсер, и оператор своих фильмов.

В фильме «Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Грёнинг не только сужает мир фильма до двух подростков, брата Роберта и сестры Елены, кружащих в летнем зное по окрестностям придорожной бензозаправки, но пытается запереть их в нечеловеческом, абсолютном времени, предъявляя зрителям тотальность времени экранного.

Сюжет

В основе сюжета — пари, которое Елена предлагает Роберту: до экзамена она переспит с кем-нибудь, а если нет — выполнит любое желание брата и отдаст ему обещанный ей на поступление «Фольксваген». Так из невинных игр с муравьями и кузнечиками в траве, перестрелок из водных пистолетов и разговоров о природе времени с цитатами из Святого Августина и Хайдеггера (а Елена задумала поступать на философский факультет и тема «время» — центральная тема её вступительных испытаний), из подростковой бравადы и спора, замешанного на ревности, складывается картина того времени, что характерно для чёрных дыр, где сила гравитации так высока, что времени там нет, оно разрывается на частицы и рассеивается, если выражаться образно.

«Моего брата зовут Роберт» — фильм-эксперимент, состоящий из серии длительностей, организованных специфической монтажной пунктуацией режиссёра. Художественное повествование «перебивается» реальной, документальной съёмкой, отчего время в ленте не линейно, а «шарообразно».

Может случиться так, что, включив фильм, вы не досидите до конца, вам захочется прерваться. Хронометраж ленты — около трёх часов, просмотр даётся нелегко. Но вам обязательно захочется узнать развязку. Что ж, перемотать можно всегда.

А что же там в конце? Обойдёмся без спойлеров. Скажем лишь только, что без времени нет свободы и невозможен выбор. Эти слова произносит в фильме Роберт, хоть он и «идиот», но как будто более склонен к философствованию, чем его сестра. И вопросы, что у вас возникнут после фильма, могут звучать и так: при каких условиях история психического нездоровья служит для выражения универсальных вопросов, а не возвращается к себе же бумерангом? В каких случаях фильм не застревает в рассудочной структуре, а транслирует зрителю живой универсальный опыт знания? И насколько здоровы мы сами, чтобы судить героев и режиссёра?

Норма условна, фильм, на наш взгляд, познавателен — в данном случае это значит, что можно узнать кое-что о себе после просмотра этой ленты.

Всем кино! 

Алексей Шипенко

Моя родина — СССР

1.

Ранее утро, поздняя осень, и почти совсем темно.

Спина мужчины, стоящего у стены одноэтажной пекарни. Мужчина смотрит в огромное распахнутое окно, затянутое мелкой сеткой от мух, точнее, мужчина этот к окну совсем вплотную приклонён. Там, за сеткой, внутри, там, куда он так жадно смотрит, мерцает огонь, мелькают толстые белые фигуры, и прёт жар. У ног мужчины лежит большой чёрный пёс, лохматый, как овца.

Изнутри пекарни слышны звуки металла и крики баб. Там пекут хлеб и идёт запах, который нам не суждено почувствовать. Одна из баб приближается к окну, останавливается с той стороны сетки.

Баба. Чего тебе?

Мужчина. Хлеба.

Баба. Какого тебе? Говори скорей.

Мужчина. Не знаю... Белого. Булки. Бублика.

Баба. Угу. Нет.

Мужчина. Доллар.

Баба. Покажи.

Мужчина достает бумажный доллар, клеит на сетку. Сетка липкая, как в мёде, клеить легко. Баба уходит. Возвращается с белой булкой, отлепляет доллар, отдаёт хлеб, уходит.

Мужчина остается стоять на месте, только слегка от стены отстранившись. Отрывает от булки кусок, засовывает в рот, жуёт медленно и вятно. Прожевав, отрывает ещё, жуёт, ещё отрывает. Мужчина ест, вспоминая. Он часто останавливается, смотрит вниз, под ноги, а может, на пса. Клиент ещё один доллар. Появляется Баба.

Мужчина *(продолжая разглядывать тротуар.)* Ещё.

Баба удаляется, возвращается с булкой, забирает доллар, отдаёт хлеб, уходит.

(Откусывает от новой булки, обращается к собаке.) Я шёл в детский сад и заворачивал сюда....(Кусает, долго жуёт.) Я стучал в раму (стучит), протягивал пятак (клеит доллар на сетку), и получал тёплую булку или бублик, когда как. (Жуёт.)

Приходит Баба с булкой, забирает доллар.

Баба. Куда тебе? Ты вон эти ещё не доел....

Мужчина. (обрывает). Дай!

Баба. Ты дурак, что ли?

Мужчина. Дай!

Баба отдаёт хлеб, уходит. Мужчина сует булку в карман, и сползая по стене пекарни, садится задницей на асфальт.

(Псу.) Вкусно, тёплый ещё...

По щекам Мужчины катятся слёзы. Мимо идёт пожилой человек с газетой и бутылкой молока в продуктовой сетке, замедляя шаг, хочет остановиться, но уходит. Мужчина продолжает есть. Пожилой возвращается.

Пожилой. Чего разрыдался?

Мужчина не отвечает. Пожилой опускается на корточки, заглядывает ему в лицо.

Что, плохо тебе, парень? А мне какво! То-то!

Мужчина, не глядя, протягивает Пожилому булку. Пожилой отрывает кусок, жуёт, достаёт бутылку молока, открывает передаёт Мужчине. Мужчина пьёт.

Холодно-то как, а? Прошлым ноябрём такого не было. А вот позапрошлым было. Ещё хуже. Снег шёл. При коммунистах

такого не было. При коммунистах снег на землю падать боялся. При коммунистах булка белого хлеба тринадцать копеек стоила.

Мужчина вытаскивает из кармана непечатую булку, протягивает Пожилому. Пожилой быстро её прячет. Мужчина встаёт, клеит на сетку ещё один доллар, ждёт. Через некоторое время появляется Баба, молча высовывает булку. Мужчина забирает, Баба уходит, не отклеив доллар.

Мужчина (вслед). А деньги?

Баба не откликается.

(Пожилому.) Вот, даже не взяла...

Пожилой. Вчера видел, как один гоблин стрелял в другого. Прострелил ему пол башки, мозги по тротуару раскидал, потом плюнул туда, сел в автомобиль и улетел. А по небу сразу такие облака кровавые заскользили и дракон. Опустился на бывшей Площади Революции, и прямо в центр нагадил, как раз туда, где я стоял. Видишь — лысина вся коричневая? *(Снимает кепку, показывает.)* Вчера, как раз когда рожу мыл, воду отключили, в полпятого, помнишь? Не знаю вот, где гигиену справить.

Мужчина. Я вчера совсем в другом месте находился.

Пожилой. Я тоже. После того, как дракон засрал Площадь Революции, я не узнавал окрестности.

Мужчина. При коммунистах такого не было. При коммунистах окрестности отсутствовали. Всё единым центром являлось.

Пожилой. Именно! А дракон, подлец, в него как раз и нагадил! Выпить имеем?

Мужчина. Нет.

Пожилой. Надо организовать.

Мужчина кивает, поворачивается к сетке, клеит три долларовые бумажки подряд, делает знаки внутрь пекарни. Появляется Баба.

Мужчина. Водочки бы нам, матушка, а?

Баба отворачивается и уходит. Непонятно, принесёт, или презирует.

Пожилый. А ты местный, да?

Мужчина. Угу. Давно уж я тут не живу.

Пожилый. А где?

Мужчина. В том дне, когда моей Родиной СССР являлся.

Пожилый (*тряся кулаком от восторга*). У-у-ух!!! Ха-ха!!!

Мужчина. Когда я горячий хлеб кушал. Когда я думал, что мы любим друг друга.

Пожилый. Не понял. Ты о бабе, что ли?

Мужчина. О стране.

Пожилый (*понимающе*). А-а-а....

Мужчина. Никогда больше.

Пожилый. Чего — никогда?

Мужчина. Всё, дед.

Появляется Баба с бутылкой водки. Мужчина принимает, низко кланяется, поворачивается к Пожилому.

Иди сюда.

Пожилый делает шаг. Мужчина откручивает пробку, протягивает бутылку.

Пожилый (*отрицательно кивает головой*). Ты — первый.

Мужчина совершает небольшой глоток.

Мужчина. Пластмассой отдаёт. Сними кепку.

Пожилый секунду-другую медлит, затем снимает. Мужчина выливает на ладонь немного водки, начинает мыть ею лысину Пожилого.

Пожилый (*вскрикивая*). А! Жжёт!

Мужчина развозит водку по лысине Пожилого.

Мужчина (*тихо, констатируя*). Говном воняет.

Пожилый. Так я ж говорю, всю площадь засрал.

Мужчина (*не сразу понимая*). Кто?

Пожилый. Да дракон!

Мужчина льёт ещё водки на ладонь, моет дальше. Пожилый кряхтит. Мужчина вытаскивает из его продуктовой сетки «Правду», кладёт ему на голову, чтобы вытереть, но задерживается, листает, читает. Пожилый ждёт, накрытый газетой.

Ты что там, заснул?

Мужчина перестаёт читать, вытирает голову Пожилого и свои руки.

Мужчина. Всё. Освежил. (*Отталкивает лысину, комкает газету, ставит пустую бутылку на подоконник пекарни.*)

Пожилый (*поражён*). А — пить? Как же.... (*Теряет дар речи.*)

Мужчина. Одно из двух — или чистый, или пьяный.

Пожилый. Уж лучше в говне, чем продукт переводить! Ты что, больной?

Мужчина. Прости, я здоровый. (*Кланяется.*) Я тебе ещё куплю. Прости.

Пожилый молчит, затем делает шаг к Мужчине, по-отечески его обнимает. В этот знаменательный момент появляется женщина, жена Пожилого.

Женщина. Ты что тут делаешь, а? Кто это?

Пожилый (*отстраняется от Мужчины*). Я....вот...

Женщина (*принюхиваясь*). Пьёшь!

Пожилый (*гордо*). Никогда!

Женщина (*показывая на пустую бутылку*). А это что?

Пожилый. Это не я...

Женщина (*подходя ближе*). Дыхни.

Пожилый медлит. Мужчина протягивает Женщине булку, приглашая угоститься. Пожилый совершает робкий выдох в сторону жены. Та сильно бьёт его по лицу, и отламывает приличный кусок булки.

(*Мужчине, поясняя.*) Я когда нервничаю, хлеб ем. (*Пожилым.*) Можешь здесь оставаться. Домой всё равно не пуцу.

Мужчина. За что?

Женщина. За враньё.

Мужчина. Это я. Я ему голову ей полоскал.

Женщина. Зачем?

Мужчина. Голова вся в говне была, а воды нет.

Женщина. Да она у него всю жизнь в говне!

Мужчина. Со вчерашнего вечера, он сказал.

Женщина (*утомлённо вздыхает*). Рассказываю. Сбивал на огороде подпорки под виноград. Кончились гвозди. Вытащил из досок, что стульчак с уборной держат. Закончил с подпорками, сбил, отужинал, сто грамм принял, закурил, пошёл в уборную, сел, доски рухнули, провалился в выгребную яму... (*Начинает залиvisto и с удовольствием хохотать.*). Плавал в ней, как карась... (*Хохочет.*). Сосед доставал, я одна не могла. Поташили его под душ ставить — воды нет. Стали туловище песком строительным оттирать, ну про лысину-то и забыли.

Мужчина. А воду с тех пор так и не дали?

Женщина. Ишь чё захотел! Ты что, приезжий? У нас по неделям воды не бывает.

Мужчина. А где берёте?

Женщина. Скважину в земле бурим. Слава Богу, племянник мой, Виктор, бурильщиком на нефтяной работал. Он нам прямо на огороде и пробурил.

Мужчина. Значит, есть вода?

Женщина. Была. Третьего дня засыпали скважину. Местные власти не разрешили. Говорят, торговать будете.

Мужчина. Водой?

Пожилый (*хмыкает*). Гигиеной.

Женщина. Молчи, вонючка!

Мужчина отрывает большой кусок, ест. Нужно заметить, что с тех пор как он начал есть, он почти не прекращает. Женщина и Пожилый некоторое время наблюдают.

Баба. Ты — дурак, да? У тебя заворот кишок будет.

Мужчина. Хочу. (*Глодает, протягивает булку Бабе.*) Угощайся.

Баба отламывает, жуёт, разглядывает Мужчину.

Что, перерыв?

Баба. Мука кончилась.

Мужчина. И что это значит?

Баба. Ничего. Хлеб печь нельзя. (*После паузы.*) Лицо твоё, едок, мне знакомо.

Мужчина. Двадцать пять лет назад ты продала мне бублик. За пять копеек. С маком. Горячий. Здесь, на этом самом месте, у этого окна.

Баба. Не помню.

Мужчина. Только ты тогда совсем молодая была. С комсомольским значком.

Баба (*улыбается*). Он и сейчас здесь (*Отворачивает воротник грязного белого халата, показывает изнанку.*) Видишь?

Комсомольский значок излучает свет и тепло.

Мужчина. Потрогать можно?

Баба. Трогай.

Мужчина. Поцеловать?

Баба. Целуй.

Мужчина чуть приподымается, а Женица приспускается так, что Мужчина глубоко утыкается в складки её бюста.

(*Шепчет.*) Я ещё и знамя храню...

Мужчина (*не понимает*). Какое?

Баба. Красное. Государственное. Советского Союза.

Мужчина. Покажи.

Баба (*отстраняется, задирает юбку, берёт руку Мужчины*).
Держи. Крепко.

Рука Мужчины хватается за край красной нижней юбки. Баба раскручивается, как балерина. Нижняя юбка — это знамя, бордово-красное, бархатное, с золотыми кистями и бахромой, настоящее, из ленинского уголка. Мужчина тянет его на себя, заваливается назад, и почти на нём повисает. Баба успевает подхватить знамя с другой стороны, и благодаря этому удерживает Мужчину от падения. Так и висят они на концах, словно матросы на яхте в шторм. Но вот Мужчина разжимает руки и падает на асфальт.

ЖРАТЬ МЕНЬШЕ НАДО!

2.

Больница. Врач у койки Мужчины.

Врач. Раньше у купцов русских болезнь такая наблюдалась — «блинная одурь». Блинов, видите ли, обедались чрез меру. Смертельные случаи тоже бывали. Тесто, оно, знаете, таким свойством гадким обладает — закупоривать. Закупоривает, понимаешь ли, всё без разбору! Все входы и выходы! Учёные говорят: не ешь теста, не ешь! А человек, он, таким свойством омерзительным обладает — не внимать. Никому не внимает, подлюка, даже себе. И жрёт хлеб! Много жрёт, в преувеличенно отвратительных количествах. Знаете статистику? Знаете, сколько от теста в год гражданского поголовья падает? А всё почему? Потому что жадность и психологического недовольство режимом. Политические причины тому виной имеются крупные на лицо. Видели? Политическое лицо нашего режима видели? А народ гибнет! (*Кричит медсёстрам.*) Демократы поганые! (*Совсем спокойно.*) В морг.

3.

Мужчина. Здравствуй, мама. Я вам с отцом денег привёз.

Мать. Зачем они нам, сынок?

Мужчина. Еду покупать, хлеб.

Мать. Здесь иной хлеб, сынок, и платить за него по-иному надобно.

Мужчина. Что ж мне с этой собакой делать?

Мать. Отдай её кому-нибудь. Иди сюда. Иди.

4.

Врач. Тело кто забирать будет?

Баба. Я, наверно.

Врач. Тогда и собаку эту прихватите — его игрушка?

Баба. Не знаю...

Врач. Распишитесь.

Баба. Здесь? *(Расписывается в ведомости, возвращается.)* А вы не знаете...он один?

Врач. Как это?

Баба. Родных нет у него?

Врач. А Вы? Я думал, Вы — сестра.

Баба. Знакомая.

Врач. Умерли его родные. Не успел он. На сутки на похороны опоздал. А потом хлеба вот объелся совсем свежего. Родители его в один день умерли.

Пауза. Баба забирает пса и собирается уходить.

Баба. Как думаете, труп усыновить можно?

Врач пристально смотрит на Бабу, рот его кривится в усмешке.

Врач. Сейчас за деньги всё можно. Даже удочерить.

5.

Пожилый у пекарни. Под окном на стуле сидит Баба, ест хлеб.

Баба. Чего тебе?

Пожилый. Хлеба.

Баба. Нет хлеба.

Пожилый. Не помнишь меня?

Баба. Нет.

Пожилый. Я давеча с молодым человеком, который у тебя...

Баба *(перебивает)*. С сыном моим?

Пожилый. С сыном?

Баба. Ну да. Сын это мой был.

Пожилый. Сын. *(Думает)*. Почему же он у тебя покупал?

Баба. Мы так договорились. Он мне деньгами помогал, а чтобы не обидно выглядело, делал вид, что ему хлеб нужен.

Пожилый. И ел его тут же?

Баба. Ну да. Зачем ему столько?

Пожилый. Действительно.

Баба. Он за границей жил, приезжал редко. Но зато, когда придет, всегда, бывало, к окну этому подойдет, постучит аккуратно так, да и хлеба попросит.

Пожилый. А ты?

Баба. Я обрадуюсь, разумеется, только вида не показываю. Бывало, даже ругаюсь, не даю ему хлеба, гоню. А он стоит, смиренно так, тихо, и ждёт.

Пожилый. А ты?

Баба. Ну а я покуражусь ещё немного, да и выношу. И он ест...

Пожилый. Здорово!

Баба. Уехал он сегодня. *(Берёт на руки лежащую у ног собаку, расстёгивает молнию на животе, показывает доллары.)* Вот. Денежную собаку оставил, Жучкою звать *(Протягивает Пожилую хлеб.)* Угощайся.

Пожилый благодарит, отламывает кусок, ест.

Пожилый. Сегодня по первой программе старые фильмы показывают. «Волгу-Волгу».

Баба. У меня телевизор сломался.

Пожилый. А ты к нам приходи. Или давай новый купим! Цветной.

Баба. Зачем? Старые фильмы все чёрно-белые.

Она закрывает глаза и погружается в кинофильм. Она видит себя молодой и красивой, только поступившей на работу. Весна 65-го, радостные люди наполняют улицы, двадцать лет назад они победили фашизм. Парад военно-морских сил, белоснежные офицеры с золотыми кортиками прогуливаются по набережной. От них пахнет портвейном и одеколоном, они веселы и выбриты, они улыбаются встречным и суют

детям конфеты. Один из офицеров подходит к ней, молодой комсомолке, и дарит букет белых пионов. Они присаживаются на скамейку с видом на море, обнимаются. Они понимают, что это мираж, но продолжают смотреть и видеть. Наверху показывают «Волгу-Волгу». «Что чувствуешь ты сейчас, о , дева? — спрашивает офицер, поводя бровями в сторону горизонта. «Вашу руку на моём колене», — отвечает она. «Неправильно», — ласково поправляет офицер, и дева понимает, что он прав, что то громадное чувство, живущее в её душе, есть не просто комплекс физических ощущений, а нечто неизмеримо большее. Она спускается внутрь всего, что составляет её личность, и находит искомое. «Моя Родина — СССР!» — кричит она так, что офицер мгновенно отдёргивает руку, вскакивает и бежит, не оборачиваясь. Он бежит долго, так долго, что добегают до солнца... Фильм засвечивается.

Пожилый (ну). У-тю-тю-тю-тю... Иди ко мне, иди...

Пёс приподнимает голову, смотрит на Пожилого, и прыгает к нему на руки. 

Сведения об авторах

ЛЮБОВЬ АРТЮГИНА (1971, Ленинград). Музыкант. Автор семи детских музыкальных сказок. Литературные публикации в ряде печатных и сетевых альманахов, журналов и поэтических сборниках, включая «Третий этаж», «45-я параллель», «Артбухта», «Точка зрения». Финалистка Международного конкурса им. И. Н. Григорьева (2014). Публиковалась под псевдонимами Александр Верес и Вирель Андел. В Германии с 2012 года. Живёт в Мендиге.

Д-Р ЛАРИСА БЕЛЬЦЕР (1945, Кропоткин). Историк, социолог, культуролог, переводчица. Автор многочисленных научных публикаций. Спектр научных интересов: сравнительный анализ гендерных порядков, социология террора, секуляризация и постколониальные конфликты, социология религии Макса Вебера, политическая культура и культурная политика. Работала в университетах Мюнстера, Билефельда, Кёльна и в Свободном университете (Берлин). В Германии с 1989 года. Живёт в Берлине.

ИРИНА БЕРЁЗА (1972, Севастополь). Поэт, прозаик. По образованию и профессии врач. Автор двух сборников стихов: «Жаль, теперь не читают стихов» (2013), «Счётчик дней» (2017). Публикации в ряде альманахов и журналов. Лауреат и призёр ряда всеукраинских и международных фестивалей в номинациях «поэзия» и «короткая проза». Соорганизатор экспериментального проекта «Фотографы против Поэтов». Живёт в Виннице (Украина).

ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ (1921, Гамбург — 1947, Базель). Писатель, автор рассказов, стихов и пьес. Воевал на Восточном фронте, был ранен. Дважды сидел в тюрьме: по обвинениям в уклонении от армии, а также, из-за пародии на

Геббельса, в разложении боевого духа. Борхерт был одним из заметнейших представителей «руинной литературы» (*Trümmerliteratur*) Германии, возникшей после окончания Второй мировой войны. Пьеса «Там, за дверью» (*Draußen vor der Tür*) выразила переживания немалой части немецкого народа второй половины 1940-х годов. При жизни опубликовал два сборника прозы. Короткие рассказы Борхерта вошли в школьную программу. Война и тюрьмы окончательно подорвали его здоровье. Премьера пьесы «Там, за дверью» состоялась на следующий день после смерти автора.

АЛЕКСАНДРА БУНИНА (1997, Москва). Студентка университета имени Губольдта. Публикация в журнале «Берлин. Берега» стала первой. В Германии с 2004 года. Живёт в Берлине.

ДМИТРИЙ ВАЧЕДИН (1982, Ленинград). Прозаик, сценарист, журналист. По образованию политолог и славист. Автор книги «Снежные немцы» (Москва, Прозаик, 2010), в 2013 году она переведена на английский язык (*Snow Germans*, 2013). Ряд публикаций в российских литературных журналах. Лауреат премии «Дебют» (2007) и «Русской премии» (2012). В Германии с 1999 года. Живёт в Берлине.

Д-Р ВЕЕРТЪЕ ВИЛЛЬМС (1969, Западный Берлин). Профессор при Фрайбургском университете имени Альберта и Людвига, специализируется на немецкой литературе и общем и сравнительном литературоведении. Владеет русским языком, полгода жила в СССР. Автор книги *Hallo Moskau! Als Studentin in der Sowjetunion* (1992). Работала в Техническом университете Берлина. С 2009 работает в университете Фрайбурга. С 2014 года заместитель руководителя первого немецко-российского гуманитарного учебного подразделения *Kulturtransfer und ‚kulturelle Identität‘*. Проводит мероприятия, посвящённые современной литературе, получила ряд наград за инновационное университетское преподавание. Научные интересы: немецкая литература с 18-го века до наших дней в европейском контексте, немецко-российские культурные связи, культурные связи и межкультурность, гендерные исследования, детская и молодёжная литература. Живёт во Фрайбурге.

КАТЕРИНА ГОНЧАРОВА (1970, Нижний Тагил).

Переводчик, гид, консультант по вопросам интеграции, предприниматель. По образованию инженер-экономист. В Германии с 1998 года. Живёт в Эссене.

ЮЛИЯ ЕФРЕМЕНКОВА (1983, Одинцово, Московская обл.).

Прозаик, продюсер, юрист. Окончила факультет истории, политологии и права РГГУ, специализация юриспруденция. Литературные публикации в журнале «Берлин. Берега», в сборнике «Новые писатели». Участник Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. В Германии с 2014 года. Живёт в Берлине.

ВИТАЛИЙ КРОПМАН (1961, Пермь). Журналист.

По образованию инженер-электрик. В журналистике с 1990 года. Работает в русской редакции *Deutsche Welle*. В Германии с 2002 года. Живёт в Берлине.

АЛЕКСАНДР ЛАНИН (1976, Ленинград). Поэт.

Окончил математический факультет Боннского университета, работает в финансовой сфере. Публикации в ряде журналов и альманахов («Берлин.Берега», «Белый ворон», «Зарубежные задворки», «Эмигрантская лира» и другие). Призёр литературных конкурсов «Пушкин в Британии», «Эмигрантская лира», «Ветер странствий», «45-й калибр», «Кубок Балтики по русской поэзии». В Германии с 1992 года. Живёт во Франкфурте-на-Майне.

ЛЕВ ЛИБОЛЕВ (1960, Одесса). Поэт. Работал маляром,

преподавал в школе-гимназии. В одесском пединституте вёл спортивную группу. Публикации в журналах и интернет-ресурсах «Южное сияние», «45-я параллель», «Гостиная», «Релга», «Мегалит». В Германии с 2001 года. Живет в Вюрцбурге.

ИРИНА МУРГ (1981, Таганрог) лингвист, кандидат педагогических наук, преподаватель английского и русского языков, переводчик. Член редколлегии журнала «Берлин. Берега».

Выпускница литературной мастерской «*Creative Writing School*»

(Москва, Россия) Майи Кучерской и Марины Степновой (мастер-рецензент Дмитрий Данилов и Ася Датнова). В Германии с 2015 года. Живет в Мюнхене.

ЮЛИЯ НЕЖНАЯ (1961, Москва). Филолог, журналист, редактор, литературный критик. Член жюри ежегодного конкурса «Форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья». В Германии с 2019 года. Живёт в Берлине.

НАТАЛЬЯ ПАСТУХОВА (1977, Волжский). Переводчик. Окончила Волгоградскую академию государственной службы и Международный факультет устного перевода в Университете прикладных наук Магдебург-Стендаль. Работает на международных конференциях и выставках по всей Европе. Ряд публикаций в российских и немецких изданиях, выступления на радио. Жила в Великобритании. В Германии с 2004 года. Живёт в Бамберге.

ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР (1956, Харьков). Поэт. По образованию педиатр, в настоящее время физиотерапевт. Автор трёх сборников стихов: «Зелёный медведь» (2006), «На этом берегу» (2012), «Обрывки сна» (2016). Публикации в «Иерусалимском журнале», журналах «Партнёр» и «Зарубежные записки», в различных антологиях. Перевёл две немецкие детские книги *Der Strunwelpeter* Генриха Гофмана («Стёпа-растрёпа») и *Max und Moritz* Вильгельма Буша. В Германии с 1992 года. Живёт в Марбурге.

ЕЛЕНА ПЕРЕПАДЯ (1975, Киев). Журналистка, юристка. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности «криминалистика», *Dr. iur.* Журналистские публикации: издание «Украинская правда», *Deutsche Welle*. В Германии с 2012 года. Живёт в Бад-Хоннефе.

ВИТАЛИЙ ПУХАНОВ (1966, Киев). Прозаик, поэт. Автор трёх книг стихотворений: «Деревянный сад» (1995), «Плоды смоковницы» (2003) и «Школа Милосердия» (2014).

Десятки публикаций в литературных журналах. Лауреат поэтической премии *Anthologia* (2014). Работал в отделе прозы журнала «Октябрь» и ответственным секретарём молодёжной литературной премии «Дебют». Живёт в Москве.

ЕЛЕНА РАДЖЕШВАРИ (1954, Одесса). Художник, поэт, переводчик. Окончила исторический факультет Мюнхенского университета. Литературно-критические статьи о современной русской поэзии и драматургии опубликованы в ряде литературоведческих сборниках издательства Кнаур (Мюнхен). Стихи и переводы немецкой и итальянской поэзии печатались в российских журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Трамвай», в газете «Литературные известия», «Зарубежные записки» и в берлинских сборниках поэзии «Третий этаж» 2010 и 2012 годов. Руководит галереей «Ателье Сольдина». В Германии с 1977 года. Живёт в Берлине.

ДАРЬЯ РУБО (1989, Мурманск). Студентка факультета городского планирования Берлинского Технического университета. Литературные публикации в журнале «Берлин.Берега». В Германии с 2012 года. Живёт в Берлине.

ЗИНАИДА СТАМБЛЕР (1962, Ташкент). Филолог, преподаватель. Работала типографским корректором, литературным редактором. Работает в Еврейской общине Киля и региона. Публикация в журнале «*FederKiel*. Писчее перо». С повестью «От Парижа до Парижа» входила в длинный список конкурса «Заветная мечта» (2009). Жила в Эстонии. В Германии с 1998 года. Живёт в Киле.

СЕРГЕЙ СТРАХОВ (1956, Киев). Профессиональный переводчик. По образованию инженер-мостостроитель. Стажировался в Дюссельдорфе и Нью-Йорке. Помимо прочего, работал в гамбургской газете *Moskauer Börsenbrief*. Публикации в изданиях *Hamburger Mosaik*, *Hamburg und Wir*, *Slovo* (Гамбург) «Пенаты» (Лейпциг), *Impuls* (Киль). Автор текстов к двум CD-проектам. В Германии с 1999 года. Живёт в Киле.

АЛЯ ХАЙТАИНА (1987, Санкт-Петербург). Поэт. Автор сборников стихов «Открыто» (2007), «Три, два, один» (аудиокнига, 2010), «Иногда корабли» (2017). Лауреат фестиваля «Второй Канал-2005», двукратная победительница конкурсов молодых поэтов Санкт-Петербурга «ПОЭТому» (2006, 2007). В Германии с 2012 года. Живёт в Мюнхене.

ОЛЬГА ХОРН (1976, Алма-Ата). Переводчица. Окончила университет им. Гумбольдта по специальности «Перевод». Как переводчица участвовала в проектах: «Гражданское образование и демократизация в странах Восточного партнерства», «*Judenverfolgung 1933-1945*», сборник *Zwangsarbeit in Hitlers Europa. Besatzung, Arbeit, Folgen*. Перевод статьи о романе «Чапаев и пустота» из книги Ларисы Шиппель *Übersetzungsqualität: Kritik — Kriterien — Bewertungshandeln*. В Германии с 1990 года. Живет в Петерсхагене.

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ (1947, Станислав). Поэт, прозаик, эссеист, критик, переводчик. Автор двух десятков книг — сборников пьес, стихотворений и прозы. Книги выходят с 1978 года, в том числе в издательствах Ardis, ОГИ, «Новое издательство» и др. Лауреат премии Андрея Белого (2007) и Русской премии (2011). С 1975 года жил в США, позднее работал на радио «Свобода» в Мюнхене. С 2018 года живёт в Израиле.

ИРИНА ЧЕВТАЕВА (Москва). Журналист. Работала на «Радио Свобода», на телеканале ARD, в журнале *The New Times* в Москве. Сейчас работает в русской редакции *Deutsche Welle*, пишет для «Новой газеты». В Германии с 2015 года. Живёт в Бонне.

АЛЕКСЕЙ ШИПЕНКО (1961, Севастополь). Драматург, режиссёр, актёр, музыкант. Автор более сорока пьес. Окончил школу-студию МХАТ, работал в Таллинском русском драматическом театре. Один из основателей московской рок-группы «Театр». В Германии с 1992 года. Живёт в Берлине.

Kurze Zusammenfassung

In diesem Heft von „Berlin.Berega“ findet man:

- Gedichtsammlungen von **Alexander Lanin**, **Alexei Tsvetkov**, **Alja Khajtлина**, **Lev Libolev**, **Grigorij Pevzner** und **Liubov Artügina**.
- Den Erzählungszyklus „Ein Mädchen“ von **Vitalij Puhanov**, die Erzählungen „Ungeheuer“ von **Dmitry Vachedin**, „In der Tram am Heiligabend“, „Ein Brief an Vera“ von **Julia Efremenkova**, „Die schwere Kindheit des BoJack Horsemans“ von **Daria Rubo**, „Entwurf einer Verteidigung“ von **Elena Radjeshwari**, sowie „Der Himmel von Afrika“ von **Sina Stambler**.
- Aus dem Werk von **Wolfgang Borchert**: die Erzählungen „Radi“ und „Das Holz für morgen“ in der Übersetzung von **Natalia Pastukhova**; Übersetzungen des Gedichtes „Ein weisses Schloss“ von **Rainer Maria Rilke**, die neuen Versionen stammen von **Alexander Lanin**, **Sergej Strakhov** und **Irina Berjosa**.
- Beiträge zum Jubiläum des Berliner Mauerfalls von **Elena Khasman**, **Galina Demina**, **Elvira Sachs**, **Natalia Lavrova**, **Olga Raiser**, **Gerd Bussing** und **Hannelore Korn**.
- Die Beiträge „Russisch-deutsche Gegenwartsliteratur am Beispiel von Natascha Wodins Roman Die Ehe“ von **Weertje Willms**, „Berolina: die kupferne Dame von Berlin“ von **Alexandra Bunina** sowie die Bücherrundschau von **Irina Murg**.
- Rezensionen von **Irina Chevtayeva**, **Julia Nezhnaya**, **Vitaly Kropman**, **Katerina Gontscharova**, **Lena Perepadya**, **Larissa Belzer** der Bücher von **Gusel Jachina**, **Sergej Lebedev**, **Sebastian Haffner**, **Alina Bronsky**, **Natascha Wodin** und **Anastassija Jurkewitsch**.
- Filmkritiken von **Vera Kolkutina**.
- Das Theaterstück „Meine Heimat ist UdSSR“ von **Alexey Shipenko**.

Информация о подписке на литературный журнал «Берлин.Берега»

Для подписки на журнал или покупки отдельных экземпляров просьба отправить запрос на электронный адрес **berlin.berega@gmail.com**

Печатная версия

Актуальный номер: **13,- €.**

Подписка на **2020** год: **24,- €.**

Каждый ранее вышедший номер (просьба уточнять наличие): **10,- €.**

Все цены указаны **для Германии**. Пересылка **включена**. При заказе из других стран просьба уточнять стоимость пересылки в редакции.

Электронная версия

Европейский Союз, Россия

Актуальный номер: **3,5 €/100 руб.**

Подписка на **2020** год: **6,- €/150 руб.**

Каждый ранее вышедший номер: **2,5 €/70 руб.**

Украина, Беларусь, Казахстан,

Актуальный номер: **20 гривен/1,5 рублей/200 тенге**

Подписка на **2020** год: **35 гр./2,5 руб./300 тенге**

Каждый ранее вышедший номер: **15 гр./1 руб./150 тенге**

Израиль, США

Актуальный номер: **10 шекелей/3,5 \$**

Подписка на **2020** год: **15 шекелей/6,- \$**

Каждый ранее вышедший номер: **8 шекелей/2,5 \$**